1508 п/70

В. М. ФРИЧЕ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

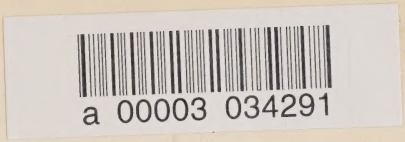
СБОРНИК СТАТЕЙ

И. К. А.

THE UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL
LIBRARY

PURCHASED ON THE

DR. AND MRS.
JOSEPH EZEKIEL POGUE
ENDOWMENT FUND


a 00003 034291

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/lntolstosborniks00fric

И
К
А

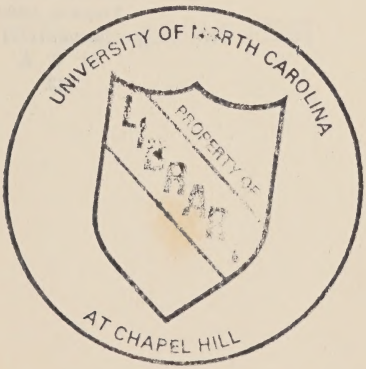
PG3410
.F7

В. М. ФРИЧЕ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ

L.N. TOLSTOĬ :
SBORNIK STATEĬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА — 1929

Типография и офсет-печатня
Издательства
„КРЕСТЬЯНСКАЯ
ГАЗЕТА“
Москва, Сущ., 21.
Главлит А—22.806.
Тираж 4.000.
Догов. 11321
ИКА
393.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

[Цифры в скобках обозначают страницы книги]

Предисловие [7]

В. И. Ленин о классовом лице Л. Н. Толстого [9]

Л. Н. Толстой [21]

Как Толстой пришел к религии [49]

Л. Н. Толстой как моралист [64]

Два „зеркальца“ Л. Н. Толстого [78]

Художественные образы Л. Н. Толстого [94]

Трагедия художника Толстого [109]

Л. Н. Толстой и И. Г. Чернышевский [122]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые вниманию читателя статьи были написаны по случаю столетнего юбилея Л. Н. Толстого для наших журналов и газет („Пролетарская революция"; „Революция и культура"; „Красная новь"; „Журнал для всех"; „Правда") и юбилейных изданий о Толстом (сборник ГИЗа о Толстом; сборник Рабпроса). Совершенно естественно, что при таких условиях невозможно было избежать повторений, однако читатель заметит, что в таких случаях обычно положение, затронутое в одной статье, находит в другой более подробное развитие. Каждая статья посвящена какой-нибудь одной проблеме, так что все они вместе охватывают все стороны творчества Л. Н. Толстого как его религиозно-моральное учение, так и его художественные создания. Две мысли объединяют все статьи, две задачи, стоявшие перед автором. Во-первых, показать социальную обусловленность мышления и творчества Толстого, вскрыть классовое лицо яснополянского мыслителя и художника. Хотя в марксистской литературе эта проблема давно и единодушно вырешена [1], однако в предла-

[1] См. сборник о Л. Н. Толстом, изд. ГИЗа.

гаемых статьях приводится не мало новых данных, освещающих классовый характер как мышления, так и творчества Толстого. Перед автором стояла еще и другая задача — противодействовать наметившемуся накануне юбилея Л. Н. Толстого даже среди марксистов стремлению идеализировать Толстого как художника, так и в особенности как идеолога.

Этой борьбе с попытками идеализации Толстого, проходящей через все статьи, специально служат две из них — взгляды В. И. Ленина на Л. Н. Толстого и параллель между Л. Н. Толстым и Н. Г. Чернышевским, столетние юбилеи которых почти совпали.

Как ни эскизны предлагаемые вниманию читателя статьи, что объясняется их журнальным и юбилейным характером, они все же — думается — несколько подвигают вперед еще не завершенную задачу марксистского истолкования наследия Л. Н. Толстого.

В. И. ЛЕНИН О КЛАССОВОМ ЛИЦЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

Ленин — величайший представитель новой России — относился к Толстому — величайшему представителю России старой — с большим интересом и даже не без некоторого восхищения:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! — говорил он М. Горькому, беседуя с ним о Л. Н. Толстом.

Сейчас, ввиду юбилея Толстого, не лишне воспроизвести здесь взгляд Ленина на Толстого и его оценку Толстого, тем более, что в настоящее время порой имеются тенденции даже в коммунистических кругах к некоторой идеализации и переоценке яснополянского проповедника и художника.

I

Статьи В. И. Ленина о Толстом возникли в боевой для большевизма обстановке, в годы последовавшей за первой нашей революцией царистской реакции, либерального компромиссничания и ликвидаторской „слякоти", по-своему оценивавших учение и значение Толстого, и имели своим назначением разоблачить по-большевистски

всю эту гниль и всю эту ложь и противопоставить им подлинный лик и подлинный смысл толстовства или — как любил выражаться Ленин — „толстовщины".

Первая статья Ленина — „Л. Толстой как зеркало русской революции" — была напечатана в газете „Пролетарий" в 1908 г. (№ 35) в связи с юбилеем Толстого. Вокруг юбилея разыгралась вакханалия „лицемерия — казенного и либерального". С одной стороны, продажные писаки правительственных газет, которым вчера еще было поручено травить Толстого, а сегодня отыскивать в нем „патриотизм" и расшаркиваться перед Европой, лезли из кожи, чтобы угодить патрону, а с другой стороны, били фонтаны „более утонченного и потому гораздо более вредного и опасного лицемерия либерального".

„Послушать кадетских балалайкиных из „Речи" — сочувствие их Толстому самое полное и самое горячее! На деле рассчитанная декламация и напыщенные фразы о „великом богоискателе" одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец, чтобы разыграть вождя общенациональной оппозиции".

Вторая статья — „Л. Н. Толстой", — напечатанная в „Соц.-демократе" в 1910 г. (№ 18), явилась откликом на смерть яснополянского проповедника. Также и она была направлена в упор и против правительственных газет, которые

„льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к „великому писателю" и в то же время защищают (отлучивший его от церкви) „святейший" синод",

и против либеральных фокусников, объявлявших Толстого „великой совестью", отделываясь „пустой фразой", дабы иметь возможность „обойти" —

„конкретные вопросы демократии и социализма, которые Толстым поставлены".

Приходилось бороться не только против лицемерия консервативной и либеральной прессы, но и против ликвидаторской болтовни меньшевиков.

В декабре 1910 г. — в связи со смертью Толстого — вышла десятая книжка меньшевистской „Нашей зари", где в статьях сотрудников читателю преподносились такие перлы, что „Толстой сумел найти синтез", „он создал не только для себя, но и для других ту чисто человеческую религию, о которой О. Конт и Фейербах могли только субъективно мечтать", или что Толстой неповинен „в пассивности и квиетизме", что Толстой оказался „чистейшим и законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического (!) начала — начала совести" и прочие подобные глупости.

Против этих „раскислых интеллигентов", поддерживавших царящую кругом „слякоть" в то самое время, когда „при самых тяжелых условиях" надлежало „отливать сталь марксистского миросозерцания", Владимир Ильич направил свою едкую статью „Герои оговорочки", напечатанную в журнале „Мысль" (в декабре 1910 г.).

По поводу этой статьи он писал в январе 1911 г. Максиму Горькому:

„Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будуть делать. Плеханов тоже взбесился враньем и холопством перед Толстым, и мы тут сошлись. Он ругает за это „Нашу зарю"

в „Ц. О.“ [1], я — в „Мысли“ (сегодня получил № 1. Поздравьте, наш журнальчик в Москве, марксистский. То-то радости сегодня у нас было)“.

Всем этим правительственным либеральным и ликвидаторско-меньшевистским искажениям Толстого В. И. Ленин противопоставил совсем иной образ Толстого, превратив его из „пустой фразы“ о „великой совести“ в выразителя сильных и слабых сторон крестьянского движения, всколыхнутого ростом капитализма и придавленного прессом самодержавия, в выразителя крестьянской буржуазной революции, неудавшейся в силу ее „толстовского“ характера.

II

В своих статьях о Толстом В. И. Ленин не ставил своей задачей вскрыть анализом *всего* Толстого, *все* содержание толстовства. Он брал его в тот лишь момент или с того именно момента, когда Толстой в своей деклассации и в своем опрощении дошел — неизбежно в силу внутренней логики — до смычки с крестьянством. Как установилась эта смычка между представителем „феодальной“ аристократии, перерождавшейся и разлагавшейся под воздействием развивавшегося капитализма, и известными частями крестьянства, после освобождения из крепостного быта „буквально отданного на поток и разграбление капиталу и фиску“ — эта сторона вопроса его не интересовала и не могла его интересовать в ту пору, когда задача состояла в том, чтобы рассеять ложь и лицемерие правительства, либералов и ликвидаторов.

[1] Речь идет о статье Плеханова „К. Маркс и Л. Толстой“ в „Соц.-дем.“ № 19 — 20 от 13/I 1911 г.

Было совершенно достаточно для его цели показать несомненную связь между настроениями и формулами Толстого и умонастроением широких слоев крестьянства накануне революции.

„В произведениях Толстого выразилась и сила и слабость именно крестьянского массового движения".

„Его горячий, страстный, нередко беспощадный протест против государства и полицейски-казенной церкви передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы в такой исторический момент, когда старое средневековое землевладение стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему развитию страны. Его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый неведомый, непонятный враг откуда-то из города или откуда-то из-за границы".

В других своих о Толстом статьях В. И. Ленин рисовал его уже не столько как выразителя протестующих настроений крестьянства, сколько как идеолога беспомощности и придавленности крестьянства, лицом к лицу с этим „новым неведомым и непонятным" врагом, и вытекавших отсюда его упадочных настроений, отражавших кризис натурального хозяйства — этого „восточного" или „азиатского" строя.

В статье „Л. Н. Толстой и его эпоха" (в „Звезде", 1911 г., № 6), подчеркнув ориентацию Толстого именно —

как тот сам выражался — на „неподвижность восточных народов“, Ленин замечает:

„Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что „все ничто, все материальное ничто“, и вера в „Дух“ — „начало всего“, по отношению к каковому началу человек есть только „работник“, „приставленный к делу спасения своей души“.

Так является Толстой выразителем не только и даже не столько „протеста“, сколько „отчаяния“ крестьянских масс, — мысль, которую Ленин еще раз и полнее высказал в статье „Л. Н. Толстой и современное рабочее движение“, напечатанной по поводу смерти Толстого в органе Центрального бюро профсоюзов „Наш путь“ (№ 7).

„Критика Толстого действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских хитровцев. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, стремление уйти от мира, „непротивление злу“, бессильные проклятия по адресу капитализма и „власти денег“.

Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого“.

К этим классическим словам остается только добавить, что все эти черты крестьянства, судорожно метавшегося в тисках „первоначального капитализма“, — наив-

ность, отчужденность от политики, стремление уйти от мира, непротивление злу, бессильные проклятия по адресу „власти денег", — все эти черты были в такой же мере свойственны самому Толстому как представителю перерождавшейся и сметавшейся под воздействием капитализма феодальной знати, повторившему в своем мировоззрении в своем учении буддизм, сложившийся в аналогичных социальных условиях в Индии и имевший своим содержанием тот же пессимизм и аскетизм, ту же религиозно-этическую установку на мир, то же стремление уйти от жизни, то же непротивление злу насилием.

III

Как оценивал В. И. Ленин учение Л. Толстого? Для известного периода русской общественной жизни Ленин допускал, при всей „безусловной утопичности и реакционности, в самом точном и глубоком смысле этого слова", этого учения, что оно в своей критической части „могло доставлять ценный материал для просвещения передовых классов", или — в другом месте — могло быть полезным „некоторым слоям населения".

Но это имело место „четверть века тому назад" — т. е. в восьмидесятых годах XIX века (статья написана в 1910 г.).

„Чем больше развивается, чем больше определенный характер принимает деятельность тех общественных сил, которые „укладывают" новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее критически-утопический социализм (как выразился Маркс) „лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания".

Если „четверть века назад" учение Толстого могло „на практике" приносить „иногда" пользу „некоторым слоям населения", „вопреки реакционным и утопическим чертам" своим, то, начиная с 90-х годов прошлого века, „это не могло быть так, потому что историческое развитие шагнуло не мало вперед".

В период же выступления пролетариата — вождя и руководителя крестьянства — толстовство и ненужно и вредно.

„А в наши дни, — писал Ленин в 1911 г., после того как ряд событий (т. е. революция 1905 г.) положил конец „восточной" неподвижности, — в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно реакционные, в узко-классовом, в корыстно-классовом смысле, реакционные идеи „выходцев" среди либеральной буржуазии, когда эти идеи заразили даже части почитай что марксистов, создав ликвидаторское течение, в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивленчества", его апелляции к „Духу", его призывов к „нравственному самоусовершенствованию", его доктрины „совести", всеобщей „любви", его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред".

IV

Хотя Ленин и считал учение Толстого в пору царистской реакции глубоко вредным, однако вместе с тем прекрасно понимал, что те классы, которые должны вынести революцию к победе, с течением времени все более будут отходить от толстовства.

„Развитие капитализма с каждым часом видоизменяет и обостряет те условия, которые толкали крестьянские миллионы, сплоченные вместе ненавистью к помещикам-

крепостникам и к их правительству, на революционно-демократическую борьбу. В самом крестьянстве рост обмена, господство рынка и власти денег все более вытесняет патриархальную старину и патриархальную философскую идеологию".

Не только „социалистический пролетариат", но и „демократические массы крестьянства" будут неизбежно выдвигать все более закаленных борцов, все менее способных впадать в исторический грех толстовщины.

И сам Толстой в последние годы своей жизни мог воочию убедиться, что Ленин прав. В своих воспоминаниях („Вблизи Толстого") Гольденвейзер рассказывает немало любопытных случаев из соприкосновения Толстого с крестьянством, свидетельствующих о том, что яснополянский патриарх бывал вынужден признать, что его „патриархальная философская идеология" отживает даже среди крестьянства. Он видел, как исчезает в нем всякая религиозная вера — не только церковная, но и всякая иная.

„В народе, — говорил он, — исчезает религиозный обман православного суеверия, а на его месте не остается ничего". (Гольденвейзер, 1, 190.)

Он слышал, как крестьянская молодежь энергично возражает против его теории непротивления злу насилием.

„У Черткова, — рассказывает Гольденвейзер, — бывают собрания с крестьянами. Один парень сказал Льву Николаевичу, что если не насиловать, то тебе на шею сядут. И парень, конечно, не был удовлетворен ответом Толстого:

„Ну, и пускай сядут. И в этом и состоит задача — когда он будет у тебя на шее сидеть, а ты старайся у б е д и т ь его, что э т о нехорошо!" (1, 199.)

И он видел, наконец, что крестьянство в самом деле — как предсказывал Ленин — все более революционизируется. Однажды, со слов старого знакомца-мужика, Толстой сообщил домашним:

„Революционное настроение живет в народе. Старики все еще больше черносотенники, а молодежь — все революционеры. Если что случится и мы не удержимся, они все в лоск положат" (1, 346).

V

Как относился В. И. Ленин к Л. Н. Толстому — своему антиподу — после Октября, когда восставшие под руководством пролетариата крестьяне в солдатских шинелях и мужицких рубахах в самом деле — как боялся Толстой — „все в лоск положили"?

За послеоктябрьский период мы уже не имеем официальных по этому поводу выступлений Ленина, если не считать тех его речей, где он отражал обвинения большевиков — за политику мира — в толстовстве.

Зато имеются его высказывания, так сказать неофициальные, зафиксированные в воспоминаниях о нем.

В своей посвященной Владимиру Ильичу статье М. Горький рассказывает, как однажды он застал его в кабинете пишущим — на столе лежал том „Войны и мира". Ленину, любителю охоты, захотелось прочесть известное описание охоты в имении Ростовых, но он оторвался, чтобы написать письмо товарищу в провинцию, надорвавшемуся и усталому, которого надо было приободрить.

„Зашел разговор о Толстом.

— Вот это, батенька, художник! Кого в Европе можно поставить рядом с ним? —

И Ленин сам себе ответил:

— Некого!“

Владимир Ильич всегда был высокого мнения о Толстом как художнике, который дал „несравненные картины русской жизни“, „первокласные произведения мировой литературы“. Он всегда жалел, что „Толстой-художник известен пока только ничтожному меньшинству“, выражая при этом твердое убеждение, что необходимо его „великие произведения“ сделать „действительно достоянием всех“, а для этого нужен „социалистический переворот“.

Если бы однако сейчас — десять лет спустя после октябрьского переворота — в той сложной обстановке, в какой находится Советская республика, когда пролетариату приходится строить здание социализма во враждебном окружении, под угрозой империалистической интервенции, среди безбрежного мелкобуржуазного крестьянского мира, если бы сейчас В. И. Ленин мог ответить на вопрос, считает ли он и теперь учение Толстого столь же вредным, как и в предреволюционный канун 1905 г., как потом в эпоху царистской реакции, — сомнений нет, как бы гласил его ответ.

Если на мгновенье предположить, что „азиатские“ воззрения яснополянского проповедника проникнут в широкие массы, то как должны они реагировать на возможную интервенцию империалистов иначе, как с пассивно на груди скрещенными руками; как должны они расценивать набор в Красную армию, если всякое воинское дело есть дело нехристианское; как они должны относиться к Советскому государству, если всякое государство есть зло; как должны они взирать на иностранную и на свою буржуазию, поскольку она имеется, раз надлежит, — как выразился кн. Болконский, — „любить всех, любить вра-

гов, любить бога во всех его проявлениях"; как должны они отвечать на призыв к индустриализации, если раем на земле является „восточный" строй натурального хозяйства, и как они должны откликнуться на призыв к построению социализма в городе и в деревне, если социализм есть — см. „Восстановление ада" — дьявольское изобретение и дьявольская провокация?

Сомнений нет, в 1928 г. — как некогда в 1911 г. — Ленин повторил бы, что это учение и в особенности всякая попытка его идеализации могут принести только „самый непосредственный и самый глубокий вред".

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Л. Н. Толстой был представителем и продуктом определенного класса — дворянства, или — вернее — определенной группы этого класса, родовитой „феодальной“ знати, выросшей на корню натурального хозяйства и крепостного права. Его мышление и творчество, его этические и социальные идеалы были, прежде всего, предопределены его принадлежностью к этой именно группе — к родовитой аристократии помещичьего типа. Как весь класс, так, в особенности, эта социальная группа, переживала во второй половине XIX в. кризис, катастрофу. Отмирало натуральное хозяйство. Развивался капитализм. Родовитая знать теряла прежний культурный и социальный вес и эволюционировала в сторону бюрократии и буржуазии. Распадалась аристократическая психика и на ней построенная аристократическая культура. Такой же, как родовитая знать, кризис переживало под влиянием развивавшегося капитализма крестьянство. Новые классы выступали на сцену и завоевывали жизнь — буржуазия, пролетариат. Отживала старая, натурально-феодальная, — „патриархальная“, „азиатская“, по выражению Ленина, —

Россия, нарождалась новая—городская, буржуазная, рабочая — европейская.

Кризис натурального хозяйства и феодального класса — вот второй и главный фактор, предопределивший содержание учения и творчества Л. Н. Толстого.

I

Еще до реформы 1861 г. помещичье-барский строй, выросший на основе натурального хозяйства и крепостного права, был явно обречен. И однако перед взорами его лучших представителей он продолжал носиться в образе некоей социальной идиллии, в „нравственном" отношении более высокой, нежели надвигавшийся хаос денежных отношений и капиталистической конкуренции. В 1852 г. молодой Толстой задумывает роман „Русский помещик", где герой, бросая университет, хочет посвятить свою жизнь своим крестьянам, „вверенным богом его попечению", помогает им советом и средствами, обуздывает кулака. Позднее, в 1856 г., отказавшись от завершения этого замысла, Толстой пишет „Утро помещика", где в размышлениях и мечтах героя еще более отчетливо встает патриархальная, помещичье-крестьянская идиллия, как она грезилась феодалу-барину.

„... Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро. У него есть крестьяне. И какой отрадный и благодарный труд... избавить их от бедности, дать довольство, передать им образование, развить их нравственность.

А жена помещика —

... в простом белом платье идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику и везде утешает, помогает".

Задуманные молодым Толстым романы о патриархальном барине-помещике, опекуне и воспитателе „вверенных ему богом“ крестьян, так и не были завершены, ибо реальная почва все более уходила из-под этой социальной идиллии, выдуманной феодалом-помещиком, как средство предотвратить неминучую катастрофу.

После Крымской кампании властно встал вопрос об освобождении крестьян. Толстой разработал проект об освобождении своих мужиков и летом 1856 г., собрав их на сход, изложил им свой план. Случилось „непостижимое“. Крестьяне на его проект не согласились. Он поспешил написать — на всякий случай — записку главноуправляющему (собственной его величества) канцелярией Блудову (на самом деле он ее не отправил), где изложил свое фиаско.

„К удивлению моему крестьяне отказались и еще как бы подтрунивая спрашивали, не отдам ли я еще всю и свою землю“.

То, что помещику феодалу казалось „непостижимым“, стало потом ясным и для него.

„В моих словах и предложениях (говоря, что они за мной счастливы) они видели одно желанье обмануть, обокрасть их. Они твердо убеждены, что в коронацию все крепостные получат свободу, и смутно воображают, что с землей, может быть даже и со всей помещичьей“.

Социальная идиллия обнаруживала все признаки классовой борьбы — за землю.

Если крестьяне были „твердо убеждены“, что вся земля их, то помещик был столь же „твердо убежден“, что она вся его. В указанной записке на имя Блудова Толстой упорно проводит мысль, что „историческая спра-

ведливость“ требует признать землю собственностью именно помещиков и отпустить крестьян без земли.

„Я никогда не понимал, почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьян без земли“.

Освободить крестьян без земли значило создавать пролетариат и — как это ни странно, как это ни изумительно — Толстой вдруг становится в 1856 г. на защиту „идеи четвертого сословия“ — как выражался Лассаль.

„Пролетариат! Да, разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит“.

И далее следуют такие несомненно оригинальные и смелые и совершенно не толстовские мысли.

„Еще те явления истории, которые произвел пролетариат, произведший революции и Наполеонов (!), не сказал своего последнего слова, и мы не можем судить о нем, как о законченном историческом явлении“.

И затем в скобках:

„Бог знает, не основа ли он возрождения мира к миру и свободе“.

Ценность этой изумительной — пророческой — мысли умаляется, к сожалению, тем, что она родилась в азартном желании сохранить за помещиком всю землю — и потому впоследствии, когда у нас народился и выступил пролетариат, Толстой об этой когда-то им выставленной мысли основательно забыл.

Если в записке на имя Блудова достаточно определенно выступает классовая позиция Толстого, то в „Войне и мире“, романе, написанном в 60-х гг., Толстой, по крайней мере, устами двух своих главных героев, тех, которые ему ближе других, если только оба они не худо-

жественные объективизации двух сторон его натуры, мотивирует освобождение крестьян не благом самих крестьян, а моральным благом самих помещиков. Если Пьер Безухов хочет освободить своих крестьян, дабы успокоить свою совесть, то кн. Болконский разражается в разговоре с ним следующей тирадой:

„— Ну, вот ты хочешь освободить крестьян. Это очень хорошо: но не для тебя и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, и рубцы на теле заживут, и он также счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаянье, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Так вот кого мне жалко — человеческого достоинства, спокойствия, чистоты, а не их спин и лбов, которые сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами."

А Пьер в ответ только восклицает, вместо того, чтобы возражать.

„— Нет, нет и тысячу раз нет, я никогда не соглашусь с вами."

Допустим, что кн. Болконский не совсем Толстой, и менее всего в этой сцене, отнесем слова о сечении и о Сибири, и о скотской жизни крестьян даже за счет душевного раздражения, в котором тогда — будучи не у дел — находился честолюбивый князь — самая забота о нравственном благе помещичьего класса, а не о материальном или физическом благе крепостного крестьянства, совершенно в духе тогдашнего Толстого. Достаточно вспомнить имеющую вероятно автобиографическую под-

кладку сцену в „Детстве, отрочестве и юности", где Николенька Иртенев, присутствуя при избиении барином своего крепостного слуги, проникается сожалением не к избиваемому крестьянину, а именно к избивающему барину, который вынужден омрачить свою душу насилием, грехом.

Реформа 1861 г. окончательно похоронила социальную идиллию, грезившуюся феодалу-помещику. Родовитое барство вместе со всем дворянством оттеснялось новым восходившим классом — буржуазией, и само оно вовлекалось в орбиту буржуазной действительности. В итоге этого процесса — постепенное перерождение аристократической психики и всей аристократической культуры. Толстой вскрыл и изобразил этот процесс деформации феодальной психики и феодальной культуры, написав после „Войны и мира" — „Анну Каренину". В „Войне и мире" класс родовитой аристократии социально и культурно еще господствует. Все свидетельствует о крепости и прочности его быта и его психологии, которую Овсянико-Куликовский в своей работе о Толстом описывает так:

„Тут мы найдем и чувство своего превосходства перед прочими смертными в силу одной только принадлежности к господствующему классу и род брезгливости, осложняющей это чувство, и особое понятие чести и долга, его умеряющее и уравновешивающее, и известную специфическую душевную культуру, в которой переплетались выправка манер, лоск, тепличность воспитания, условная образованность".

Таковы все эти Болконские, Ростовы, Безуховы и пр. Совершенно другую картину дает „Анна Каренина" (написанная в 70-х гг.).

Болконские и Ростовы сменяются здесь гр. Вронским, последним носителем старой великосветской культуры, у которого все только-что указанные черты феодальной психики омертвели, действуют по традиции, действуют по инерции, стали формой, из которой ушло старое живое содержание. На смену представителям аристократической культуры идут бюрократы, как Каренин, и аристократы, превращающиеся в буржуа, как Стива Облонский (старая феодальная форма наполнилась новым — как хорошо выяснил Овсяннико-Куликовский — неаристократическим содержанием). Потомок Рюрика, кн. Облонский уже не кичится своей родословной и готов признать своим родоначальником — обезьяну. Со всеми на „ты", с аристократами, актерами, купцами, он вращается в кругу капиталистов — железнорожных и банковых тузов — не беда, что они „жиды". Читает либеральную газету. Его девиз — „жить, т. е. — приспособляться и по возможности другим давать жить".

От Болконских и Ростовых к бюрократу Каренину и к приспособленцу Облонскому — такова была по необходимости эволюция родовитой аристократии во второй половине XIX в. — в обстановке развивавшейся самодержавно-буржуазной действительности.

Как в этой новой обстановке должна была сложиться жизнь родовитого помещика, вскормленного атмосферой натурального хозяйства, показывает образ Левина.

Левин такой же барин, как Вронский, и в этом отношении как Вронский полная противоположность Облонского.

Достаточно одной сцены, чтобы обоих — Левина и Облонского — обрисовать.

„Облонский. — Что же ты Рябинину (купец) не предложил поесть?

Левин. — А чорт с ним!

Облонский. — Однако, как ты обходишься с ним, ты и руки ему не подал!

Левин. — Оттого, что я лакею не подам руки, а лакей во сто раз лучше.

Облонский. — Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий!

Левин. — Кому приятно сливаться, на здоровье, а мне противно".

Этот барин, ограничивший свой кругозор хозяйством и семьей, не ставший ни бюрократом, ни приспособленцем, естественно весь во власти кризиса, охватившего его класс в изменившейся обстановке, и этот кризис класса отражается в нем в виде мучительных дум о том, что он такое и для чего живет — он не находит ответа и приходит в отчаяние.

Душевный кризис Левина как отражение социального кризиса класса кончается, как известно, тем, что перед ним блеснул свет нового учения, которое его творец и двойник — Толстой — отныне преподносит миру.

II

Выступая, как „учитель жизни", Толстой не мог, естественно, отрешиться от тех форм мышления, которые свойственны помещику-феодалу, а эти формы мышления представляли прямую противоположность тем, которые были свойственны новым классам, выступившим на историческую сцену. Его мышление, как мышление всякого феодала, было религиозно-авторитарным. Основной принцип авторитарно-религиозного мышления Толстой сам выразил в следующих словах:

„Жизнь мира совершается по чьей-то воле, кто-то жизнью всего мира и нашими жизнями делает какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее".

Этот „кто-то" есть „бог" — есть „хозяин" — как часто выражался Толстой — есть собственно помещик, возведенный из хозяина поместья в хозяина мира. В тесной связи с авторитарно-религиозным мышлением находится и идеализм или лучше дуализм Толстого в вопросе о духе и теле. Мир и человек распадаются для него на „душу" и на „материю", как отражение в области мышления противоположности организатора-хозяина и подвластных мужиков. И только в барском феодальном поместьи могла зародиться характерная для Толстого переоценка духа за счет материи, души за счет тела, ибо здесь наличие материальных благ позволяло всецело сосредоточиться на заботах о благе духовном.

Этот свойственный феодалу-помещику религиозно-авторитарный и идеалистически-дуалистический способ мышления Толстой — в 70-х, 80-х, 90-х годах — выдвигал с особенной настойчивостью, как некую классовую эмблему, как средство классового отличия, когда выступила буржуазия и демократия, а впоследствии и пролетариат, шедшие к завоеванию жизни и власти под знаменем научного анализа и материалистической философии.

И подобно тому как мышление Толстого было пропитано традициями натурального хозяйства и феодального уклада, так и его отношение к проблеме зла, существующего в обществе, его социальная философия и социальная практика были не чем иным, как перенесением на совершенно иную и противоположную действительность отношений, мыслей и чувств, вскормленных бар-

ской усадьбой. Его неустанная проповедь о том, что благо людей зависит от их внутреннего перерождения, а не от изменений внешних условий, вытекала не только из его переоценки духовного за счет материального, из его религиозного идеализма, но и из бытовых условий патриархального поместья. В крепостной усадьбе благо крестьян до известной степени, несомненно, зависело от нравственного состояния барина — если он был жесток, крестьянам приходилось страдать больше, чем если он был мягок и добр. В условиях существования натурально-крепостного быта можно было обращаться к помещикам с проповедью — будьте добры, справедливы и т. д. и улучшится „общее состояние людей" (ваших „людей").

Эту рожденную в барском поместьи морально-социальную философию Толстой переносил на совершенно иную общественную действительность, бесконечно расширившуюся и бесконечно осложнившуюся, рисовавшуюся ему все в том же виде патриархальной усадьбы былых времен. В 1905 г., когда шла борьба за установление нового социально-политического строя, за изменение внешних условий, Толстой обращался к царскому правительству, к министрам со словами:

„Спасенье ваше не в думе с такими или иными выборами, а в том, чтобы поставить перед народом идеал справедливости, добра и истины" —

а к революционерам, под которыми он мыслил всех „от либеральных конституционалистов и до самых воинственных революционеров", с увещанием:

„Обстоятельства требуют от вас не речей на собраниях, не хождения по улицам с револьверами, часто нечестного возмущения крестьян, а строгого отношения к себе, к своей жизни, улучшение которой о д н о может улуч-

шить общее состояние людей". (Правительству, революционерам, народу.)

В ее логически-последовательном развитии эта этически-индивидуалистическая точка зрения помещика-феодала приводила порой к выводам, звучавшим столь же дико, сколь и наивно.

В своем возвании „К рабочему народу" Толстой вещает:

„Нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое ими зло происходит от внешних условий и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит только человеку или обществу людей искренно обратиться на себя и в себя и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас найдутся и сами собою уничтожатся".

Итак, рабочим рекомендовалось поискать причины своего бедственного положения не в капитализме, а в своей собственной жизни.

III

Философское и социально-этическое мышление Толстого не только было обусловлено психоидеологией феодальной аристократии, вскормленной натуральным хозяйством — класс этот переживал смертельный кризис — приходил в упадок, перерождался, сметался жизнью, и как отражение и выражение этого кризиса должно было сложиться особое „учение".

В далеком прошлом уже имелся прецедент и прообраз. Буддизм в Индии возник в тех же социальных усло-

виях, как и толстовство — в период разложения натурального хозяйства, развала феодального класса на фоне растущего (торгового) капитализма.

Каковы основные черты буддизма?

Это прежде всего преодоление мира, как нереальности отожествление реального чувственного мира с обманчивой и лживой игрой — с покровом Майи. Чувственное бытие не только призрачно, оно и греховно. Мудрец, постигший лживость Майи, спешит потушить в себе волю к жизни и прежде всего плотскую любовь. Он становится аскетом. Задачей жизни для него является нравственное самоусовершенствование на основе сострадания к страждущим (и в первую очередь к закабаленным земледельцам). Но мудрец не борется против зла — он не только аскет, но и непротивленец. Он обязан присутствовать при самых чудовищных истязаниях, при самых диких насилиях молчаливым и пассивным свидетелем. В его распоряжении одно всеисцеляющее средство — всеобъемлющая любовь — metta — чувство, в котором сочетается умиление и жалость, самодовольство своей святостью и снисходительное пренебрежение к миру сверху вниз.

Толстой повторил в своем учении все эти черты буддизма (хотя с некоторыми другими его положениями — с учением о метемпсихозе, о переселении душ он решительно не соглашался).

То же в толстовстве отрицание реальности мира — рядом с утверждением, что все „материальное не реально", объявление науки „наивной" за то, что она считает „внешний мир" настоящей реальностью, тогда как „реальны только мои всегда повторяющиеся впечатления, подтверждаемые впечатлениями других", или полемика против ученых — материалистов, не ведающих

о том, что „сделали в области теории познания идеалисты, а еще раньше индусы". То же в нем не только преодоление мира как реальности, но и погашение в себе страстей и прежде всего половой любви, призыв к юношам и девушкам — в послесловии к „Крейцеровой сонате" — стремиться к целомудрию мыслей и желаний; а к супругам — заменить плотскую любовь „чистыми отношениями сестры и брата". Тот же принцип нравственного усовершенствования вплоть до слияния с божеством, приблизиться к которому можно только „по одиночке", та же проповедь непротивления злу насилием, вплоть до призыва в 1905 г. к восставшему „рабочему народу", к пролетариям и крестьянам:

„Смиренно и кротко переносите насилия, но не участвуйте в них".

И, наконец, та же как в буддизме панацея от всех зол — в виде ни к чему не обязывающей любви, смешанной из жалости и умиления — ко всем людям без исключения — даже к врагам, то особое чувство, которое впервые испытал перед смертью князь Болконский —

„...Любовь — не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь. Любить ближних, любить врагов своих — все любить — любить бога во всех его проявлениях" и которую еще раз пережил, идя этапом в Сибирь, Нехлюдов в „Воскресении"—

„Он испытывал теперь к ней (Масловой) чувство, никогда не испытанное им прежде. Это было простое чувство жалости и умиления. О чем бы он ни думал теперь, чтобы он ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но и ко всем людям".

Эти буддийские черты — ирреальность мира, аскетизм, нравственное усовершенствование, непротивленство, любовь — metta — в учении Толстого придают ему отпечаток восточный, азиатский, на что указал еще Ленин:

„Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании".

Эти буддийские черты в учении Толстого выражают собой однако не столько „азиатский строй" — натуральное хозяйство в момент его гибели, но прежде всего мироощущение гибнущего вместе с разложением натурального хозяйства под напором капитализма старого феодального класса.

Это только один лик толстовства — его дворянский лик — лик отчаяния и умирания.

В нем есть еще и другая сторона.

IV

Когда класс переживает социальную катастрофу, когда он выбрасывается из жизни как ненужность, то отдельные его передовые члены обычно покидают его ряды и пытаются прислониться к какому-нибудь другому классу.

Феодал-помещик Толстой, минуя новые классы и группы, выступившие на сцену во второй половине XIX в. — буржуазию, интеллигенцию, пролетариат, — шел навстречу крестьянину. Из развала феодально-помещичьего барства выходил не только буддист, но и опрощенец.

Он шел к мужику давно, воплощая свою тягу к опрощению в своих субъективно-автобиографических образах, в Оленине („Казаки"), приехавшем в кавказские горы изжить свою барскую психологию лицом к лицу с первобытным Ерошкой, отнюдь не походившим впрочем на

мужика; в Пьере Безухове („Война и мир"), преклонявшемся перед Платоном Каратаевым, как мнимым воплощением народного начала, наконец в Левине, которого толкает на путь религиозного обновления разговор с крестьянином о „праведной жизни для души".

Крестьянство, которому навстречу шел Толстой, переживало такой же кризис, как и феодальная аристократия. Оно также было захвачено железными лапами развивавшегося капитализма и беспокойно и приниженно металось в его тисках.

„Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой" (Ленин).

И Толстой выступил критиком капитализма прежде всего как разорителя и угнетателя деревни. Его критика капитализма наивная и поверхностная, ничего общего не имеющая с критикой Маркса, столь же утопичная и реакционная, как некогда в XVIII в. критика Руссо, а в XIX в. критика Рескина — тех двух писателей, которые были так родственны и понятны Толстому — критика капитализма не во имя социализма, не во имя будущего, а во имя прошлого, во имя восстановления отошедшего в прошлое и навсегда натурального хозяйства.

Нормальное социальное состояние представлялось Толстому, правда, в виде общественной формации без господствующих классов, не только без буржуазии — хотя „единый налог на землю" в духе Генри Джорджа, которому Толстой придавал такое огромное всеисцеля-

ющее значение, ни в какой мере не упразднял капитализм, чего он по своей усадебной близорукости никак не мог понять, но и без помещиков, т. е. без его собственного класса, — по существу это был реакционный идеал, возвращавший хозяйство к изжитому натуральному, или, как выразился Ленин, азиатскому строю.

Развивавшемуся бурно в городе и в деревне капитализму Толстой противополагал свой „христианский", чисто крестьянский анархо-коммунизм.

И как в аскетико-пессимистических чертах своего учения он повторил буддизм, так в этой части своего учения он также повторил иностранный образец.

А. В. Луначарский назвал Толстого нашим Цвингли и нашим Гусом. Параллель едва ли удачная. Цвингли был идеологом швейцарской буржуазии XVI в., а Гус и его последователи не были непротивленцами. Другой западный мыслитель был предвестником „христианского коммунизма" Толстого, и Толстой его хорошо знал и высоко ценил, — это был чех Петр Хельчицкий, живший на рубеже XV в., обедневший дворянин, стоявший, как и Толстой, лицом к лицу с поднимавшимся капитализмом. О Хельчицком Толстой написал статью для своего „Круга чтения", равно как предисловие к русскому переводу его книги „Сеть веры", изданному Посредником. О его высоком мнении о чешском мыслителе свидетельствует и следующий разговор Толстого, зафиксированный Гольденвейзером („Вблизи Толстого", т. I).

„Л. Н. выражал удивление, что историки говорят о Гусе, Лютере, а о таком, как Хельчицкий, даже не упоминают. А между тем это удивительный религиозный мыслитель".

Разумеется, историки-марксисты прекрасно знали и знают этого чешского проповедника XV в., который учил — см. книгу Каутского „Предшественники социализма“ —

„...что истинно верующий не должен участвовать в управлении государством, как учреждении языческом — единственный метод уничтожения государства это его игнорировать. Истинно-верующий не должен эксплоатировать ближнего, не должен заниматься торговлей, города и торговые места — суть зло“.

От Петра Хельчицкого и его ученика брата Грегори пошли богемские братья.

„Каждому члену братской общины строго запрещено было нести военную службу, участвовать в управлении государством; хотя частная собственность и семья не были запрещены, однако рекомендовалось воздерживаться от того и другого. Ученые, наука не признавались. Жить, трудиться и молча терпеть — вот все, что надлежит делать на земле истинному христианину“.

„Христианский коммунизм“ Толстого с его безгосударственностью, непротивленством, отрицанием воинской повинности, отрицанием городской культуры и науки вольно или невольно повторяет учение богемских сектантов, отдаленных предшественников наших духоборов, с которыми так долго и тесно был связан Толстой. Толстой до конца своей жизни был упрямо убежден, что в нашем крестьянстве в целом держится „христианская“ идея (равенство, непротивление, общинность). В своих официальных выступлениях он на всевозможные лады повторял эту свою излюбленную мысль, — а факты, на каждом шагу его опровергали, и в своих домашних бе-

седах он вынужден бывал признаваться, что дело с крестьянином обстоит не так благополучно[1]).

И обманули его даже его любимцы-духоборы. Как только, изгнанные царским правительством, они попали в Канаду, в „свободную страну", определенно и властно в них заговорили инстинкты собственников, и ему — учителю — пришлось их усовещевать и наставлять.

Это письмо мало известно — оно было опубликовано в 1920 г. в наших „Известиях" (№ 264) толстовцем Трегубовым.

Вот отрывок:

„Соблазн собственности есть самый тяжелый соблазн, вред которого очень хитро скрыт от людей, поэтому так много христиан натыкались на этот камень. И потому, дорогие братья и сестры, я вижу ясно, что вам со всех сторон выгоднее продолжать жить христианской жизнью".

И затем перечисляются все выгоды общинного уклада перед собственническим.

Таким образом в „христианском коммунизме", вернее, — в анархо-коммунизме Толстого было гораздо больше от настроений опрощающегося упадочного барина, нежели от настроений самого крестьянства, и если в этом учении и было кое-что от крестьянства, то не от крестьянства вообще, а от крестьянства, попавшего в цепкие лапы капитализма, перед которым крестьянин стоял растерянный, непонимающий, подавленный, отчаявшийся.

Произошла естественная смычка упадочного дворянина и отчаявшегося крестьянина. В итоге получилось то, что известно под именем учения Толстого.

---

[1]) См. статью первую.

„Идеолог старой России", — назвал его Ленин, — старой, патриархальной, умиравшей и умершей России.

V

Как мышление, так и творчество Толстого было предопределено прежде всего его классовой принадлежностью, а во-вторых, тем кризисом, который переживала во второй половине XIX в. его социальная группа.

Трудно указать другого столь же субъективного, как он, писателя — понимая здесь слово субъективный в самом простом обывательском смысле, в смысле художественной объективизации совершенно личных, субъективных переживаний (имеющих лишь косвенно объективное значение).

В своей прекрасной работе о Толстом Овсянико-Куликовский давно вскрыл эту черту толстовского творчества:

„Художественный гений Толстого отмечен явственно отпечатком субъективного творчества в том смысле прежде всего, что для своих лучших созданий Толстой находит материал, отправную точку и угол художественного зрения в своем собственном внутреннем опыте, в самонаблюдении".

Отсюда такие субъективные образы, его самого выражающие, как Иртенев, Оленин, Левин.

И когда свойственный ему субъективизм приходил в коллизию с объективными фактами, он жертвовал объективностью во имя субъективизма.

Один пример.

Толстой задумал в 1905 г. написать историю известного или, вернее, неизвестного Федора Кузьмича, предполагаемого Александра I, не умершего вовсе

в Таганроге, а покинувшего дворец и закончившего свою жизнь отшельником в Сибири (отрывки были напечатаны в „Русском богатстве“, за что Короленко привлекался в свое время к суду, но был оправдан). Александр I, покидающий свет и уходящий в отшельники, это, конечно, сам Толстой, мечтавший покинуть Ясную Поляну и запереться в монастыре. Одним из мотивов — и одним из главных мотивов — ухода Александра I Толстой берет недобрые отношения его к жене, которая изображается самыми отрицательными эпитетами (капризная, злая, лживая). Толстому указывали, что такая характеристика жены Александра I неправильная, так как Елисавета Алексеевна была человек, напротив, нежный, добрый и благородный. Толстой обещал исправить, переделать это место, хотя не скрывал, — как сообщает Чертков (в примечании)

„...что ему было бы жалко расстаться со своим первоначальным представлением о царе и о взаимных отношениях между супругами“.

Нетрудно видеть, что Толстой изображал объективную действительность субъективно, скомпановал отношения царя к жене под углом зрения своих к своей жене отношений, не останавливаясь и перед явным искажением характера исторического лица.

Это, конечно, субъективный, а не объективный метод творчества.

Толстой субъективный художник не только в этом простом значениии этого слова, но и классово-субъективный художник, что опять-таки прекрасно выяснил немарксист Овсянико-Куликовский.

Убедительно и ярко умел он по существу изображать только свой мир, свой социальный круг — аристократи-

ческую знать в прошлом и настоящем, всяких Болконских, Ростовых, Вронских, Облонских и т. п.

Следует в скобках добавить, что для лепки этих фигур Толстому служили моделями лица его ближайшего круга. Татьяна Кузьминская в своих воспоминаниях (III ч.) описывает чтение в доме Перфильевых „Войны и Мира" — слушатели легко узнавали себя в этих персонажах — Наташа Ростова — это Татьяна Кузьминская, Мария Дмитриевна — это жена Перфильева и т. д. и т. д. Даже кукла Татьяны Кузьминской, которую она девочкой венчала с братом своим, попала к ее удовольствию к Наташе Ростовой. Когда вышел роман „Анна Каренина", в Москве — по словам той же Кузьминской — разнесся слух, что Стива Облонский это московский губернатор и друг Толстого Перфильев. Все такие мнения Толстой не опровергал, а только „посмеивался". Изображая убедительно только свой социальный круг, Толстой вместе с тем явно идеализировал его быт; затушевывал все грубо-отрицательные стороны, т. е. воспроизводил данное явление не всесторонне, не объективно, а „тенденциозно". В домашних беседах он иногда бывал не прочь указывать и на отрицательные стороны крепостного быта — так однажды он говорил о том, что помещики тогда жили грязно, было много клопов, когда приезжал гость ночевать, то клали на постель сначала лакея, и когда клопы вдоволь насасывались, лакея снимали и готовили постель для гостя. В изображении Толстым аристократического быта в „Войне и мире" никаких таких клопов (которые здесь фигурируют, как символ) не имеется. Все обстоит как нельзя более благополучно. Никакого крепостного права даже нет. (Кроме повести „Поликушка"). А раз дворянски-крестьянский мир так изображен, то можно ли

говорить об объективном изображении данного явления.

И подобно тому, как взаимоотношения между помещиками и крестьянами изображены как идиллия, так в виде идиллии изображены в „Войне и мире“ и взаимоотношения между царем и сословиями — последние в 1812 г. готовят Александру восторженную встречу, тогда как на самом деле (см. Покровский, т. III) Ростопчину пришлось принять кое-какие меры к тому, чтобы обеспечить этот пресловутый восторженный прием — дворянство отнюдь не было очаровано правительственными предложениями об ополчении, а купечество необходимостью раскошелиться — а меры, принятые Ростопчиным, заключались в том, что он поставил около здания благородного собрания две фельдъегерские повозки, в каких обыкновенно отправляли в ссылку в Сибирь.

Творчество Толстого классово-субъективно не только в том смысле, что он рисовал убедительно только свой класс и притом идеализируя его быт и нравы, но, главным образом, в том, что людей иных и противоположных дворянству классов он изображал уже доподлинно не „всесторонне“, не „объективно“, а односторонне, т. е. тенденциозно.

И опять не кто иной, как немарксист Овсянико-Куликовский эту черту толстовского творчества вскрыл почти исчерпывающе.

„В воспроизведении (таких персонажей) уже не виден великосветский художник, а виден только мастер рисунка, причем среди этого мастерства нетрудно подслушать иной раз не совсем верные, даже совсем неверные ноты, заметить неправильные обобщения“.

Так в „Детстве, отрочестве, юности“ выведено в последней части несколько плебеев, разночинцев.

„Все они сливаются в безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальные признаки — от них остается только общее впечатление, род запаха, что они не comme il faut“.

Это ли значит объективно всесторонне изображать известное явление (разночинца)?

В „Войне и мире“ противопоставлены друг другу кн. Болконский и Сперанский. Овсянико-Куликовский правильно утверждает, что для Толстого Сперанский органически невыносим, но он объясняет это неприятие Толстым Сперанского и приятие Болконского только их психологической противоположностью. Сперанский рационалист, верящий в силу разума, тогда как Болконский — послушен иррациональным велениям психики, т. е. своей породы. На самом деле это не только психологическая противоположность, но в конечном счете социально-классовая. Болконский родовитый аристократ, а Сперанский идеолог тогдашней русской буржуазии — плебей, попович, семинарист. А Болконский изображен Толстым с гораздо большей заинтересованностью, углубленностью и всесторонностью, чем органически ему противоположный буржуа, либерал и конституционалист Сперанский.

Также предвзято, односторонне и тенденциозно, как представителей буржуазии и демократии, рисовал Толстой и рабочих, в частности, рабочих-революционеров.

Когда в XX в. выступил пролетариат, как революционная сила, готовая перевернуть Россию, и сложился образ пролетария-революционера, Толстому пришлось так или иначе с ним посчитаться и как художнику. Дважды изобразил он этот тип. Это, во-первых, Маркел Кондратьев в „Воскресении“, организатор стачки, иду-

щий по этапу в Сибирь, заботливо храня первый том „Капитала" Маркса. Кубиков прав, утверждая (в книге „Рабочий класс в русской литературе"), что Кондратьев не живой человек, а схема. Это, во-вторых, прохожий в пьесе „От нее все качества" — машинист, познакомившийся с „образованными людьми", усвоивший себе „умственную словесность", состоящий в партии (во „фракции"), участник экспроприации, уволенный и теперь босячествующий, он не прочь и поворовать. Толстой изобразил тип рабочего-революционера, как карикатуру, заставляя его между прочим безжалостно коверкать иностранные слова „пердагогия", „аграмарный" и т. п. В основе этого образа лежит прототип — путанный и сумбурный рабочий, любивший произносить фрондирующие речи против властей — бывал он в Хамовниках, бывал и в Ясной Поляне, где речь его была зафонографирована (Кочетыгов). По словам Гольденвейзера Толстой слушал его, „хохоча до упаду".

Толстой знал и других рабочих. Однажды он встретил на шоссе прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим.

Выяснилось, что миросозерцание его

„...вполне совпадает с ницшеанством и культом личности Горького".

Знал Толстой и двух тульских рабочих, из которых один был „отчаянный социалист", который

„...верил в какой-то непреложный закон, по которому неизменно совершается человеческая (т. е. общественная) жизнь и в то же время говорил, что нужно бороться",

что казалось Толстому „противоречием", и который возражал по адресу учения Толстого о любви ко всем:

„Зачем я буду любить людей? Я вовсе не люблю их. Все они так дурны, что я скорее ненавижу их".

Однажды тульские типографщики принесли Толстому прокламацию (для согласования). Так как его не было дома, они ее оставили и ушли.

„Лев Николаевич, — рассказывает Гольденвейзер, — прочел ее, ужаснулся и сказал: „Мне собственно и говорить с ними не о чем, мы с ними говорим на разных языках".

Итак, Толстой видел, знал подлинных рабочих-революционеров и однако, когда лепил своего „прохожего" в деревенской пьесе, то все черты подлинного сознательного пролетария не вошли в этот образ, остались вне его, чтобы дать место карикатуре. Это ли значит „всесторонне", т. е. объективно, воссоздавать известное явление (рабочего)?

Так опровергает все творчество Толстого положение, что будто из него вытекает вывод, что Толстой, как „гениальный мастер", как „объективист-историк" изображал человека всесторонне, к какому бы сословию, классу и партии он ни принадлежал. Творчество его классово-субъективно и тенденциозно, направлено против буржуазии, демократии и пролетариата.

VI

Когда Толстой порвал со своим классом и пошел навстречу мужику, то этот процесс опрощения — как результат кризиса класса должен был также отразиться на его творчестве. Параллельно с его идеологическим опрощением шло его опрощение художественное.

Если идеологически Толстому более или менее удалось это опрощение, то как художника его здесь постигла катастрофа, которая была одной из причин его отказа от искусства, как от „лжи и греха".

Толстой начал свою литературную деятельность дворянским жанром семейной хроники („Детство, отрочество, юность"), перешел в 60-х гг. к историческому роману („Война и мир"), представлявшему ту же семейную хронику (Ростовых, Болконских) на фоне лишь исторических событий; потом в 70-х гг. в атмосфере нараставшей буржуазной культуры сменил семейную хронику и исторический роман на психологический в сугубо однако аристократической, великосветской трактовке („Анна Каренина") и, пережив свой „кризис", „опростившись", поставил перед собою новую задачу — стать изобразителем крестьянства, создать крестьянский роман, крестьянскую семейную хронику.

Еще до „Анны Карениной" Толстой задумал крестьянскую повесть „Корней Захаркин" — историю крестьянского юноши, переплетающуюся с историей барчука. Явился и другой замысел — показать крестьянина-богатыря, Илью Муромца, студентом, кончающим университет. Затем он принимается за исторический роман о Петре I — в сохранившихся отрывках много сцен, где действуют крестьяне, стрельцы, разбойники. Все эти замыслы были оттеснены замыслом о Декабристах — сюжет, который волновал Толстого еще в 1856 г. (вместо него он дал „Войну и мир"), потом в 1863 г. он написал отрывок о декабристе-старике, вернувшемся из ссылки, наконец в конце 70-х гг. он снова принимается за этот сюжет — встреча ссыльного декабриста с крестьянами - переселенцами, ушедшими от барской „обиды" на Амур. В сохранившихся отрывках (обследованных В. А. Дружкиной) особенно подробно разработаны сцены, где действуют крестьяне-богатеи, хозяйство и имущество которых подробно описывается и с особенным сочувствием изобра-

жается крестьянский ходок (под разными в разных отрывках именами), ведущий дело мужиков против барина, всецело преданный мужицкому миру.

Толстой завел записную книжку, куда записывал мужицкие обороты, ругательства, пословицы, и чтобы „исправить язык" вел долгие беседы со странниками и богомольцами. Все эти попытки художественно опроститься не привели ни к чему. Задача создать крестьянский роман в силу классовой предопределенности его творческих возможностей оказалась не по силам — овладеть художественно этим новым, чуждым материалом Толстой не смог. В 1877 г. его жена с его слов записывает в дневник:

„Крестьянский быт мне особенно труден и интересен, а как только я описываю свой — тут я, как дома".

Крестьянский роман под заглавием „Декабристы" остался фрагментом недостроенного здания.

И когда дворянину-отщепенцу, силившемуся превратиться в мужика, не удалось поставить на место дворянского романа — роман крестьянский, когда он почувствовал и понял, что у него нет средств для решения той художественной задачи, которая должна была соответствовать его идеологическому опрощению, когда с другой стороны кругом стала все победоноснее развиваться литература буржуазная, которую он, как и всю новую буржуазную культуру, не принимал, Толстой отвернулся от искусства вообще и объявил его ложью и грехом.

Но отказаться совершенно от искусства он не смог и, пойдя на компромисс, поставил его на службу своему аскетическому, „христианскому" — на самом деле „азиатскому" учению.

И тогда крестьянство, на которое Толстой так упорно ориентировался, получило у него иное, чем в задуманном крестьянском романе, освещение. В пьесе „Власть тьмы“, где крестьянки изображены все, как олицетворения зла, как исчадия ада, в угоду аскетической установке буддиста-Толстого на женщину, идеалом человека объявлялся косноязычный невежественный мужик Аким, как воплощение блаженного духа патриархального натурального хозяйства, к которому звал назад не только от ужасов капитализма, но и от вырисовавшегося из него пролетарского социализма, последний русский барин — „идеолог старой России“ Лев Толстой.

КАК Л. Н. ТОЛСТОЙ ПРИШЕЛ К РЕЛИГИИ

I

Л. Н. Толстой долгое время спокойно обходился без религии. Религия долгое время лежала по существу вне его мышления, творчества, поведения. Он был вполне мирской человек.

„Жил я до пятидесяти лет, — рассказывает он [1], — думая, что та жизнь человека, которая проходит от рождения и до смерти, и есть в с я жизнь его".

Религиозный человек мыслит иначе, ибо — что такое религия?

„Сущность религии,—отвечает Толстой [2],—всегда понималась и теперь понимается людьми, не лишенными высшего человеческого свойства, как установление человеком его отношения к бесконечному существу или существам, власть которых он чувствует над собой".

Или в другом месте:

„Религия есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения назначения

[1] „Предисловие к „Христианскому учению".

[2] „Что такое религия, и в чем ее сущность"

человека, и из этого назначения — правил поведения [1] ".

В этом смысле Л. Н. Толстой в самом деле весьма продолжительное время жизни своей не был религиозен. Он не думал о том, чтобы прежде всего установить свои отношения к „бесконечному существу", „началу всего", не сознавал себя во власти „Пославшего", не выводил из этого отношения свое земное назначение, а отсюда определенные правила поведения.

В этот период своей жизни — до пятидесяти лет — Толстой не был ни „дикарем", ни „христианином", а скорее всего „язычником". Существует, по его мнению, именно эти три разных „жизнепонимания" [2].

„По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности, дело его жизни — в удовлетворении воли этой личности".

Таково жизнепонимание дикаря.

Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Выше стоит жизнепонимание „языческого общественного человека".

„По этому жезнепониманию жизнь человека заключается не в одной личности, а в совокупности и последовательности личностей — в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей" [3].

Это второе „общественное" отношение человека к миру есть, впрочем, „в сущности только расширение первого" („благо личности приобретается не отдельно, а в соединении с другими личностями").

[1] „Что такое религия, и в чем ее сущность".

[2] „Царство божие внутри нас".

[3] Понятие „класс" недоступно Толстому.

Как в эпоху, предшествовавшую освобождению крестьян, так и в эпоху, непосредственно последовавшую за крестьянской реформой, Толстой принадлежал к типу именно этого „общественного, языческого человека" — цель и смысл жизни он полагал, а вместе с ним и его литературные образы-герои, в выполнении своих семейных обязанностей (женитьба; забота его героев об устройстве семейной их жизни) и своего общественного долга (заботы как Толстого, так и его поэтических двойников, напр., в „Романе русского помещика" или в „Утре помещика" об устроении крепостных крестьян; Толстой как мировой посредник после освобождения; его деятельность в области народного просвещения).

От этого „общественного" или „языческого" жизнепонимания Л. Толстой потом — на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века — поднялся к третьему, высшему, по его мнению, подлинно-религиозному, христианскому или „божескому".

„ По этому жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности, и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни — в боге".

Если стоять на почве этого третьего жизнепонимания, то „...значение жизни признается человеком только в служении той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой Воли" [1].

На склоне жизни — начиная с семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века — Толстой усвоил себе это „третье" жизнепонимание и от личных, семейных, общественных — земных, мирских, „языческих" интересов,

[1] „Религия и нравственность".

забот, задач перешел он к „христианскому“ служению бесконечному существу; к исполнению воли „Пославшего“.

Чем был вызван этот переход от „языческого“ жизнепонимания к „христианскому“?

Послушаем самого Толстого.

Последовательную смену этих трех „отношений человека к миру“ Толстой ставит на биологическую почву, увязывает каждое из этих трех жизнепониманий с определенными возрастами человека, словом, мыслит эту смену как отражение в области мышления и поведения биологической эволюции человеческого организма. Первое из этих трех отношений человека к миру — дикарское — есть вместе с тем отношение к миру, „в котором находится всякий р е б е н о к, вступая в жизнь“.

Второе — общественное, языческое — „свойственно преимущественно в о з м у ж а л ы м людям“.

И наконец третье, христианское, божеское, это то отношение к миру, „в котором невольно чувствует себя всякий с т а р ы й ч е л о в е к“ [1].

Если это так, то очевидно христианское или божеско е жизнепонимание, т.-е. установление человеком своего отношения к бесконечному существу „началу всего“, есть жизнепонимание не абсолютной, а относительной истинности, отнюдь не обязательное для каждого человека, а лишь наиболее приемлемое для стариков, т. е. организмов, находящихся в упадке, клонящихся к исчезнованию, подстерегаемых смертью. Если приведенная Толстым параллель между возрастами человека и указанными тремя единственно, по его мнению, возможными отношениями человека к миру имеет какой-нибудь смысл — а Толстой

[1] „Религия и нравственность“.

не даром и не зря сделал это сопоставление — то объявлять общеобязательным старческое жизнепонимание для всех, конечно, не приходится, ибо оно предполагает особое, а именно старческое, упадочное состояние человеческого организма. Правда, Толстой был убежден, что это „божеское" отношение к миру все более побеждает „языческое" в историческом развити человечества.

„Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и закончившаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть переживаемая нами и т е п е р ь история замены государственного (языческого) жизнепонимания божеским" [1].

Оставляя в стороне столь странно-наивное утверждение, как отожествление переживаемой нами эпохи империалистических войн и социальных, равно как национально-колониальных революций с торжеством „божеского" жизнеотношения, если бы это однако в самом деле имело место и человечество (мыслимое Толстым бесклассовым) в самом деле вступало в указанный Толстым период истории замены „языческого" „божеским" жизнеотношением, то это значило бы — с его же точки зрения — только то, что (бесклассовое) человечество вступает в период старческого упадка, надвигающейся смерти.

II

Если Л. Н. Толстой на старости лет пришел к религиозному жизнепониманию, к установлению прежде всего своего отношения к „бесконечному существу", „началу

[1] „Царство божие внутри нас".

всего", то, однако, не только в силу старости, когда по ядовитому замечанию Г. Гейне, сказанному им по случаю возвращения философа Шеллинга—на склоне жизни в лоно религии, даже самый умный мыслитель может настолько поглупеть, что уже без бога никак не может обойтись.

Биологический момент (старость) получил такое решающее значение, как источник религиозности Толстого, только потому, что в силу определенных социальных причин Толстой оказался оголенным и беззащитным во власти биологии.

До освобождения крестьян дворянско-помещичий класс, к которому он принадлежал и все соки которого он в себя впитал, был еще господствующим, стоял еще более или менее крепко и потому у помещика Толстого могли быть и были на самом деле свои земные (помещичьи) интересы, заполнявшие его мышление и руководившие его поведением. После освобождения крестьян положение чистокровного помещика изменилось — порвалась „семейственная" связь между барином и мужиком, каждый уже жил сам по себе, социальная функция помещика-„опекуна" крестьян кончилась, и перед ним вставал вопрос о смысле жизни — тот вопрос, который преследует двух главных героев в романе „Война и мир", написанном под углом зрения реакции дворянина-землевладельца на свое новое — после крестьянской реформы — социальное положение — Пьера Безухова и в особенности князя А. Болконского, вопрос, подводящий обоих, в особенности последнего, близко от „второго" (общественного) жизнепонимания, являющегося лишь „расширением первого" (личного) к „третьему" — религиозному, к установлению прежде всего отношения их личности к бесконечному существу, к богу.

В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века положение помещичьего дворянства еще более осложнилось, еще более ухудшилось в том смысле, что оно не только теряло свой прежний удельный вес, но и явно оттеснялось новой экономической силой, капиталом, новым, шедшим к господству классом — буржуазией.

Л. Толстой отразил эти явления в написанном в семидесятых годах романе „Анна Каренина", где господствуют уже не дворяне, а буржуа, банковые и железнодорожные тузы, у которых потомок Рюриковичей, родовитый боярин Стива Облонский вынужден, как милостыню, выпрашивать тепленькое местечко, вынужден итти на всяческие унижения, вынужден в угоду новым условиям жизни коренным образом перестраивать свое мышление и свои убеждения, вынужден „сливаться" с другими „сословиями", „приспособляться". На этот путь „приспособления", перерождения своего класса, не желает встать другой герой романа, тот, в котором Толстой отобразил самого себя в этот критический период своей жизни, Левин, который и вступает, раньше несколько, чем сам Толстой, и решительнее и безоговорочнее, нежели герои „Войны и мира", на путь религиозных исканий, на путь третьего „жизнепонимания".

Так, не желая вместе со своим классом перерождаться, „приспособляться", Л. Толстой остался вне класса, без всяких классовых задач и перспектив, как социально оголенный биологический организм. Для того кто сросся со своим или даже чужим классом, в особенности молодым, восходящим или даже еще крепким, господствующим, не страшны ни старость, ни смерть, ибо класс продолжает жить и развиваться и после смерти личности, сознающей свое единство с этим классовым коллективом.

Но что может неминуемому уничтожению личности противопоставить человек, оторвавшийся от коллектива, оставшийся вне класса, как биологический организм, которому не спастись ни от старости, ни от смерти? — Ничего, кроме отчаяния.

Рассказав о том, как до пятидесяти лет он жил как язычник, веря в возможность счастья, и о том, как он все больше убеждался, что „счастья этого нет и не может быть", Толстой так освещает психологическую почву, на которой произошло его религиозное перерождение [1]:

„Несчастий же становилось все больше и больше и неизбежность смерти становилась все очевиднее и очевиднее, и я понял, что после этой бессмысленной и несчастной жизни меня ничего не ожидает, кроме страданий, болезни, старости и уничтожения. Я спросил себя, зачем это? и не получил ответа.

И пришел в отчаяние".

И чтобы превозмочь отчаяние перед этой ужасной для немощного биологического организма, вырванного из своего социального бытия, перспективой — Толстой уверовал

„не в официальное церковное учение, ибо ни одна религия не проповедывала таких явно несогласных с разумом и с современными знаниями людей и таких безнравственных положений, как те, которые проповедует церковное христианство".

Свое религиозное учение Толстой построил в сущности на двух простых положениях: 1) есть бог — начало всего, и 2) частицу себя он вложил в человека в виде „разумной любви", любви ко всем (отсюда „практическое пра-

[1] Предисловие к „Христианскому учению".

вило поведения": поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой).

III

Перейдя на склоне лет от „языческого" к „божескому" жизнепониманию, Толстой должен был прежде всего доказать себе (и другим), что бог, „начало всего", существует реально или как личность, как творец вселенной, или, по меньшей мере, как безличный дух.

И ни того, ни другого Толстой доказать не сумел [1].

С одной стороны, бог не может быть личностью.

„Я знаю наверно, что он не личен, потому что личность есть ограниченность, а бог беспределен".

„Как про бога сказать, что он личность. В этом корень антропоморфизма".

Не только бог не есть личность, он и не творец.

„В сущности, мы не имеем никакого основания предполагать бога-творца. Бога-творца нет".

Тогда, следовательно, бог есть безличный дух, но если он безличный дух, то его никак нельзя мыслить как отца, ибо отец есть тот, кто меня создал, кого я как сын, могу любить, а именно так преимущественно мыслил Толстой своего бога.

„Ехал верхом из Тулы и думал о том, что я часть его.

А он — все, Отец, и я почувствовал любовь к нему".

Но если даже согласиться с Толстым в том, что такие вопросы, как: является ли бог личностью или безличен он, надлежит оставлять „неотвеченными", все же необходимо иметь доказательства того, что бог в самом деле

[1] Все дальнейшие цитаты из „Мысли о боге".

существует, как „реальное существо“. И однако такого доказательства Толстой обрести не смог.

„Есть „я“, познающее данными мне орудиями чувств мир и знающее внутренно своего бога-отца“.

Но „внутреннее сознание“ существования бога еще не есть доказательство его объективного бытия. Из этого сознания можно сделать разве вывод, что у данного лица, у Толстого, есть понятие о боге, и Толстой уже было хотел ограничиться этим субъективным понятием.

„Мне стало приходить в голову, что можно удовольствоваться одним понятием того бога, который есть во мне, не признавая того, который вложил в меня частицу себя“.

И когда эта мысль пришла ему в голову, с ним произошло „удивительное дело“.

„Мне вдруг становилось скучно, уныло, страшно. И тут только я догадался, что это произошло от того, что я ушел от бога“.

А когда, чтобы превозмочь „скуку, уныние и страх“, Толстой снова представил себе бога как отца, ему стало сразу необыкновенно легко — явилось и крепло

„сознание полной обеспеченности, сознание того, что он есть, он — благ, он меня знает и я весь окружен им — детище его“.

Из того, что без бога-отца „страшно и скучно“, а при наличии веры в его, отца, реальное существование человек (Толстой) ощущает чувство обеспеченности, опять-таки отнюдь не следует, что бог-отец существует объективно, вне сознания данного человека. Когда прислушиваешься к этим рассуждениям Толстого о боге-отце, невольно вспоминаешь обоготворенного предка, бога родового строя. И что весьма характерно, наиболее убе-

дительным в глазах Толстого „доказательством" в пользу бытия бога-отца является то, что без него не было бы и старинного рода Толстых.

„К несомненности знания бога, — говорит он, — я приведен вопросом: откуда я? Я родился от своей матери, а та от бабушки, от прабабушки, а самая последняя — от кого"?

„И я неизбежно прихожу к богу".

Но вот один из героев Толстого, упомянутый выше Облонский в „Анне Карениной", тоже потомок старого барского рода, восходящего к Рюрику, выйдя социально за пределы феодально-аристократического быта, а идеологически — за пределы авторитетно-религиозного мышления, на тот же толстовский вопрос „откуда он?", приходил уже не „неизбежно" к богу, а к обезьяне, считая ее родоначальником всего человеческого рода, в том числе и своей древней фамилии.

IV

Неблагополучно обстояло дело и со вторым положением религии Толстого, а именно, с утверждением, что бог — „начало всего" — вложил в человека „частицу себя" в виде любви ко всем людям по принципу: не делай другим, чего не хочешь, чтобы делали тебе.

Из того, что человек сознает в себе эту любовь, опять-таки нельзя делать вывода, что эту любовь вложил в него бог-отец, объективное существование которого Толстым вовсе и не доказано. Но даже если предположить, что эту разумную любовь вложил в человека именно бог — „начало всего", то толстовский бог немногим отличался бы от церковного, казнящего потомков Адама за грехи Адама. Ведь этой разумной любви

не было у „дикаря“, жизнепонимание которого сводилось по независящей от него вине к заботам только о своей материальной личности, и не было его и не могло собственно быть и у „языческого общественного человека“, который, живя во имя блага своей семьи, своего племени, своего рода, своего государства, был вынужден относиться враждебно к представителям других семей, племен, родов и государств; как дикарь, так и язычник не виноваты в том, что не было еще „третьего“ религиозного „жизнепонимания“, в котором одном сказывается эта разумная любовь ко всем людям. В человека этих исторических периодов бог-отец или забыл вложить частицу себя или вложил ее в него почему-то в слишком мелкой дозе. Но даже если взять тот третий большой исторический период, в который, по мысли Толстого, человечество вступило вместе с появлением христианства, когда должно восторжествовать христианское жизнепонимание, что эта вложенная богом в человека разумная любовь к людям по принципу: „поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой“, проявлялась в жизни чрезвычайно слабо и редко, не говоря уже о „переживаемой нами теперь“ эпохе господства империалистов, которых Толстой метко окрестил „федерацией разбойников“. Хотя Толстой и утверждает, что „переживаемое нами теперь“ время есть эпоха замены „языческого“ жизнепонимания „божеским“, один факт наличия и господства этой „федерации разбойников“ живейшим образом свидетельствует о том, что вложенное богом — „началом всего“ — в современного человека чувство разумной любви встречает в своем проявлении чрезмерные препятствия и что бог-отец очевидно не один направляет ход жизни. Хотя бог-отец, по определению Тол-

стого, и есть существо „бесконечно любящее“, однако зло не только существует, но и процветает и Толстому оставалось поэтому только сделать ответственным за него антипода бога — чорта. В самом деле, Толстой сообщает:

„Со мной вот что случилось — я не только все больше удалялся от понятия ветхозаветного бога-творца, но и от понятия Отца — и дьявол уловил меня“ [1].

V

Несмотря на существование дьявола, Толстой верил, однако, что бог-отец положил в основу мироздания и мировой жизни некий разумный план. И как неладно обстоит дело у Толстого с доказательством бытия бога и с тезисом о вложенной богом в человека разумной любви, так и в этом отношении аргументация его до крайности неубедительна.

„Несомненно, — рассуждает он, — что делается что-то в этом мире и делается всеми живыми существами. Иначе для чего было бы это солнце, эти весны, зимы и, главное (!), для чего эта трехлетняя, беснующаяся от избытка жизни, девочка и эта выжившая из ума старуха и сумасшедший. Эти существа, в которых крепко завинчена жизнь, более (!) всего меня убеждают, что они жили для какого-то дела разумного, но недоступного мне“.

Все эти существа, о которых говорит Толстой, как о наиболее убедительных доказательствах в пользу существования некоего богом положенного в основу мира плана, свидетельствуют лишь о неистребимом слепом жизненном инстинкте и о физическом здоровьи некоторых стариков и безумцев и никак ни выжившая из ума

[1] „Мысли о боге“.

старуха, ни сумасшедший не могут служить убедительным доказательством в пользу существования в жизни заранее в него вложенного „дела разумного".

И если вспомнить все ужасы, нищету, рабство, мучения, кровопролития и т. д., коими преисполнена история человечества вплоть до наших дней, весь гнет феодализма, крепостничества, капитализма, империализма, доводивший до отчаяния и гибели миллионы существ, то странным, чтобы не сказать кощунственным, звучит утверждение Толстого: „Бог делает с в о е дело через нас" [1].

VI

Плеханов считал Л. Н. Толстого большим художником и слабым мыслителем.

Изложенная вкратце аргументация, на которой построена его религиозная система, в самом деле достаточно шаткая. Она не убедит никого ни в том, что боготец в самом деле „реальное существо", ни в том, что именно он вложил в человека разумную любовь, ни, наконец, в том, что в основу мироздания и исторической жизни человечества им положен некий разумный план.

Но для самого Толстого его религия была, как он сам утверждает, спасением. Оставшись после социальной гибели своего класса, неизбежное перерождение которого он не захотел и не смог ни принять, ни сам проделать, в виду того, что он впитал в себя и выражал собою всю психо-идеологическую сущность этого класса — старой родовитой аристократии, — оставшись один, лицом к лицу с неотвратимыми законами биологии, с мыслью

[1] „Мысли о боге".

о неизбывном уничтожении единичной личности, он содрогнулся, ужаснулся, пришел в „отчаяние“, стал искать выхода и спасения. Из художника он превратился в мыслителя. Подлинный продукт своего класса, сложившегося и долгое время жившего в условиях натурально-феодального хозяйства, он умел мыслить только в духе авторитарного (религиозного) мышления, противоположного научному, по принципу: есть „бесконечное существо“, „начало всего“, отец (и даже творец), неизвестную и недоступную познанию волю которого обязан выполнять на земле человек. Очистив религиозные учения, сменявшие друг друга в ходе истории человечества, от всего фантастического, нелепого и жестокого, от всех положений как „безнравственных“, так и „противоречащих современному знанию“, Толстой обрел в этой очищенной религии противоядие против страха личного уничтожения и „утвердившись в этой истине“, — как он признается сам [1], — „успокоился и радостно приближался к смерти“

Религия Толстого — не более как продукт мысли старика, одиноко стоявшего вне своего класса, историческая роль которого была сыграна до конца.

---

[1] Предисловие к „Христианскому учению“.

Л. Н. ТОЛСТОЙ КАК МОРАЛИСТ

Л. Н. Толстой был не только художник и даже, может быть, не столько художник, а больше всего и прежде всего моралист. Все его литературные персонажи, те, которых он наделял в большей или меньшей степепени своим собственным „я“ (Нехлюдов в „Утре помещика“, Оленин в „Казаках“, Пьер Безухов и кн. Андрей Болконский в „Войне и мире“, Левин в „Анне Карениной“ и т. д.), — все они заняты одной коренной заботой, одним краеугольным вопросом: как жить, на каких началах построить свое поведение, свои отношения к другим людям — близким и дальним? Все они волнуются — как Пьер Безухов — с все возрастающей настойчивостью все более неотступно вопросами:

„Что дурно; что хорошо; что надо любить; что ненавидеть; для чего жить?“

Эти вопросы, положительный ответ на которые должен привести к той или иной системе морали, столь же неотступно и мучительно волновали самого творца этих образов, настолько глубоко захватывая его, что моралист в конце концов победил в нем художника. Толстой

отрекся от искусства во имя чистой проповеди и превратился из автора „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ в автора таких нравоучительных трактатов, как „Религия и нравственность“, „Так что же нам делать“, „Царство божье внутри вас“ и т. д. И когда он время от времени снова возвращался потом к художественному творчеству, он смотрел на искусство уже исключительно с точки зрения моралиста и писал свои художественные произведения (так. наз. „посмертные“) исключительно во имя внушения читателям тех или иных нравственных положений и догматов. И именно как моралист, как проповедник новой нравственности, как учитель жизни стяжал Л. Н. Толстой — в большей мере нежели даже как художник — себе м и р о в у ю известность.

Он был убежден, что та новая мораль, которую он создал, сидя в своей „Ясной Поляне“, имеет общечеловеческо-обязательный характер, что она есть абсолютная норма поведения для всех людей без изъятия.

В классовом обществе т а к о й морали быть не может.

„Истинно человеческая мораль, стоящая выше классовых противоречий и выше воспоминаний о них, — писал Энгельс (Анти-Дюринг), — будет возможна только на той ступени общественного развития, когда классовые противоречия не только будут превзойдены, но и забыты для житейской практики“.

В обществах же, разделенных на враждующие классы, всякая идеология, в том числе и мораль как система или совокупность правил поведения, может быть выражением только классовых потребностей и интересов.

„Так как общество, — замечает Энгельс, — до сих пор развивалось внутри классовых противоречий, то и мораль всегда была классовой моралью; она или оправдывала

господство и интересы господствующих классов или, когда угнетенный класс становится достаточно сильным, она выражает возмущение против этого господства и интересы будущего этого угнетенного класса".

К этим совершенно правильным словам следует разве прибавить, что наряду с моралью, выражающей интересы господствующего класса (от того, какой именно класс господствует в данную эпоху будет зависеть самое содержание морали) и наряду с моралью, воплощающей интересы класса угнетенного, но уже подымающегося на борьбу за жизнь (причем и в данном случае содержание этой морали будет определяться тем, что это за поднимающийся класс), возможна и такая мораль — такие правила поведения, — которые исходят от класса еще господствующего, но уже обреченного историей, класса, чье господство подтачивается враждебными силами; осуществление которой на практике и должно или навсегда обезопасить этот господствующий еще класс от гибели или по крайней мере на возможно более продолжительное время отсрочить эту гибель.

Таковым именно и было нравственное учение Л. Н. Толстого.

Основными положениями того учения, которое он нес миру из яснополянского своего уединения, являются несомненно следующие: 1) отречение от своих социальных преимуществ, 2) непротивление злу насилием, 3) любовь ко всем людям, кто бы они ни были.

Эта „христианская" мораль Толстого сложилась, как нетрудно показать, на почве страха перед социальной революцией, как средство предотвратить неминуемую, по убеждению Толстого, экспроприацию и гибель „богатых классов".

II

Толстой всю свою сознательную жизнь видел перед собой грозный призрак социальной революции, — гибель своего — помещичьего класса. Уже накануне крестьянской реформы, столкнувшись на собственном опыте с инстинктивным убеждением крестьян, что вся земля — включая и помещичью — отойдет к ним, Толстой в (неотправленной) записке на имя главноуправляющего II отделением собственной е. в. канцелярии гр. Д. Н. Блудова подчеркивал настоятельнейше необходимость скорее решить крестьянский вопрос так или иначе, пусть даже так, что это будет не совсем выгодно помещикам — иначе неминуем революционный взрыв, который может иметь своим последствием самую гибель помещичьего класса.

„Теперь не время думать об исторической справедливости и о выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет [1]".

Крестьянская реформа прошла благополучно. Ожидавшаяся в начале 60-х годов крестьянская революция не состоялась. Но почва, на которой стояло помещичье хозяйство, продолжала оставаться вулканической. Лето 1865 г. было засушливое. Грозил голод. И снова поднялось прежнее беспокойство. Снова перед умственным взором Толстого встал грозный призрак революции. В предчувствии грозящей опасности Толстой писал (в мае 1865 г.) Фету:

„Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный

[1] Толстой Л. Н. Избр. произведения. Русские и мировые классики, ГИЗ, 27, Предисловие М. А. Цявловского.

мягкий хлеб на чистой скатерти, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой чорт делает уже свое дело и всех их (мужиков) проберет и расшевелит пожалуй так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюдце достанется".

В августе того же года Толстой заносит в свою записную книжку ряд замечательных мыслей об особом назначении русского народа, который „внесет в мир идею общественного устройства без поземельной собственности".

„Русская революция только на ней (на этой идее) может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности [1].

Но и на этот раз судьба пощадила помещичий класс. Крестьянство не поднялось. В семидесятые годы кризис помещичьего класса становился яснее на фоне развивавшегося капитализма, с одной стороны, и революционного народничества, с другой. И снова перед Толстым встал этот неотвязный призрак социальной катастрофы. Свои переживания в этот период он воплотил в образе помещика Константина Левина, в романе „Анна Каренина". Левин остро ощущает критическое положение своего класса и мучительно думает над возможностью выхода из грозного тупика, пока не останавливается на мысли сделать крестьян соучастниками в доходах своего имения. Только такая реформа даст, по его мнению, возможность избежать разгрома помещичьего класса.

---

[1] Обе цитаты см. Гусев, Толстой в расцвете художественного гения.

„Все хозяйство, — размышляет он, — главное, положение всего народа совершенно должно измениться. Вместо бедности общее богатство, довольство; вместо вражды согласие и связь интересов".

„Одним словом: революция бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира".

Когда Левин понял, что его реформа только утопия, — он бросил писать свою книгу о сельском хозяйстве и как единственный выход из обступившей его „путаницы" устремился на путь духовно-нравственного перерождения, на путь жизни не для „корысти", а для „души", на путь „праведности".

III

В восьмидесятых годах кризис помещичьего класса усугубился торжествующим развитием капитализма, против которого так решительно выступал помещик Левин. Участвуя в начале восьмидесятых годов в московской переписи, Толстой ознакомился с теневыми сторонами городской культуры, в атмосфере которой так всегда не по себе чувствовал себя и его Левин. Теперь опасность для „богатых классов" грозила уже не только от крестьянина, но и от рабочего. И снова перед умственным взором Толстого поднялся — и на этот раз в особенности угрожающе—призрак социальной революции, призрак „рабочей революции".

„Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, опасность эта растет с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бу-

шующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас.

„Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет тридцать и только пока кое-как разными хитростями на время отсрочиваем ее".

Таково „положение в Европе и еще хуже у нас". Так как „хитростями" гибели не избежишь, то нужна коренная реформа всей жизни, — „Так что же нам делать?".

И на этот вопрос, под этим заглавием Толстой написал известную книгу, набрасывая в ней основы новой морали для господствующих классов, мораль отречения от своих социальных привилегий и от своей праздности, мораль покаяния и физического труда, мораль весьма гигиеничную и полезную для человека общественного верха, ибо, во-первых, он будет „веселее, бодрее, здоровее, добрее", во-вторых, он

„будет постоянно испытывать радостное сознание того, что с каждым днем он все более и более удовлетворяет требованию своей совести", в-третьих, — это, очевидно, главное

„вместо вечного страха возмездия за зло он будет чувствовать, что спасает и других от этого возмездия [1].

Резюмируя еще раз те три причины, которые должны побудить „людей богатых классов" переменить свое поведение, Толстой, как третью причину, снова подчеркивает ту, которая на самом деле является первой и главенствующей, ту, которая лежит в основе возникновения этой части его нравственного учения, обращенного к общественному верху и господствующим классам —

[1] В тексте не „он", а „ты".

„все растущая опасность жизни, неустранимая никакими внешними средствами".

IV

„Опасность" для людей „богатых классов" была на деле велика.

„В нашем народе в последние три-четыре года вошло в общее употребление новое многозначительное слово; словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, ругаются теперь на улице и определяют нас — „дармоеды".

„Ненависть в худших (!?) представителях народа и презрение к нам в лучших (!?) растет с каждым часом" [1].

Из этой „ненависти" и из этого „презрения" к „дармоедам", естественно, может родиться „рабочая революция с ужасами разрушений и убийств". „Так что же нам делать?" Если „богатые классы" обязаны изменить свою жизнь в вышеуказанном покаянно-опрощенском духе, то низшие классы — трудящиеся массы — обязаны уверовать в „непротивление злу насилием", как в высшую, „христианскую" мораль.

В свое время Достоевский достаточно зло высмеял это краеугольное учение толстовства. Он предлагает Левину вопрос, как поступит он — тогда была война с Турцией — если турецкий солдат будет убивать ребенка, — неужели даст убить, а не вырвет его из рук губителя.

„— Да, надо вырвать, — отвечает Левин-Толстой, — но ведь пожалуй придется больно толкнуть турку.

---

[1] Так что же нам делать?

— Ну, и толкни.

— Толкни, а как он не захочет отдать ребенка и выхватит саблю. Ведь придется, может быть, убить турку?

— Ну, и убей!

— Нет, как можно убить! — возражает Левин. Нет, нельзя убить турку. Нет уж, пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити (к жене)" [1].

На первый взгляд может показаться, что Толстой теоретически прав, утверждая, что насилие только усугубляет существующее зло, а не упраздняет его. Предположим, мать хочет побить ребенка. Это, конечно, зло — мать переживает неестественные для матери чувства, а ребенок страдает физически. Вы хотите отнять ребенка, т. е. совершить некое „насилие" над матерью. Она, вероятно, (хотя почему непременно) еще более озлобится и или вас еще поколотит или во всяком случае теперь или потом еще пуще отдерет ребенка. Таким образом „противление злу" привело на самом деле еще к большему злу. Однако это убедительно только на первый взгляд. Если такой случай будет иметь место, напр., в наше время, то можно весьма просто общественно вмешаться в эту семейно-домашнюю историю и, отняв ребенка у матери, отдать его на воспитание в детдом. Не только ребенок во всяком случае на будущее время будет освобожден от физической боли, но и матери, лишенной ребенка, не придется впредь пятнать свою душу неестественными чувствами.

„Нравственный" характер непротивления злу насилием таким образом лишь софизм, но, разумеется, применен-

[1] Достоевский, Дневник писателя, 1877.

ное на практике, как обязательная норма поведения для „низших“ классов, это учение в высокой степени полезно для „людей богатых классов“, фактическое социальное и политическое господство которых даже при готовности их „переменить“ свою жизнь осталось бы надолго или навсегда нерушимым. Именно к „рабочему народу“ — к крестьянам и пролетариям — и была обращена Толстым эта „христианская мораль непротивления“. В „Письме к революционеру“, написанном, но не напечатанном, в 1909 г. Толстой заявляет:

„Избавление рабочего народа от его угнетения и изменение его положения может быть достигнуто никак не проектами наилучшего устройства (т. е. общества) и еще менее попытками введения этого устройства насилием, а только одним, тем самым, что отрицается радетелями народа: утверждением и распространением среди людей такого религиозного сознания, при котором человек признавал бы невозможность всякого нарушения единения и уважения к ближнему и потому и нравственную невозможность совершения над ближним какого бы то ни было насилия“.

Если с подобной проповедью усвоения „религиозного сознания“, при котором невозможностью станет насилие, еще до известной степени целесообразно было обратиться к насильникам, т. е. к „людям богатых классов“, то обращаться с ней к революционерам, т. е. руководителям эксплоатируемых „богатыми классами“ народных масс значило конечно не что иное, как проповедывать им пассивную покорность до тех пор, пока „люди богатых классов“ не проникнутся спасательным „религиозным сознанием“, а так как никогда и нигде в истории человечества „люди богатых классов“ добровольно не отка-

зывались от своих социальных привилегий и связанных с ними прав эксплоатации в собственническом обществе, то эта мораль „непротивления" была в конечном счете лишь средством для господствующих классов спастись от неотступно угрожавшей им „рабочей революции".

V

Мораль опрощения (для господствующих классов) и мораль непротивления (для эксплоатируемых классов) находят в нравственном учении Толстого свое высшее завершение в „христианской" любви, в любви к ближнему и дальнему, кто бы он ни был. Это — высшая и на этот раз явно для всех классов обязательная нравственная норма поведения. Ее Толстой обосновывал метафизически, на понятии существующего объективно божества, иногда понимаемого Толстым как безличная субстанция, иногда же как личность, как „отец" (а иногда и помещичьи-мужицки, как „хозяин"). Частица этого бога (отца, хозяина) живет в каждом человеческом существе — отсюда „безнравственность" насилия над человеком, кто бы он ни был, требование любви ко всем, даже врагам. Некоторые литературные персонажи Толстого переживают это чувство любви ко всем, кто бы они ни были, так как в каждом живет бог, очень интенсивно, хотя и платонически. Так, кн. Андрей Болконский в „Войне и мире" перед смертью приходит к выводу, что единственным и высшим смыслом жизни является эта ко всем христианская любовь.

„Любить всех, любить врагов, любить бога во всех его проявлениях".

По этому пути стараются итти и другие из героев Толстого — Нехлюдовы и Левины. И если бы речь шла

только о людях „богатых классов“, то не было бы вреда, если бы они проникались сознанием, что в каждом человеке, следственно рабочем и крестьянине, живет „одинаковое божественное начало“.

Но и это свое учение о любви ко всем Толстой обращал с особенной охотой именно к „народу“, к трудящимся классам. Соглашаясь в „Письме к революционеру“ с тем положением, что „желательное общество должно быть построено на труде и солидарности всех“, Толстой в то же время подчеркивает, что достигнуть этого идеала можно только „любовью“, а никак не „насилием“, что для этого нужно, чтобы

„среди народа установилась соответствующая времени (т. е. очищенная от всякого „суеверия лжерелигиозного“) религия, признающая одинаково божественное начало во всех людях“ [1].

А если „народ“ — широкие массы рабочих и крестьян проникнутся до мозга костей этой „соответствующей времени религией“, если они будут твердо помнить и знать, что в каждом помещике и в каждом капиталисте живет „одинаковое божеское начало“ что следовательно, на всем классе помещиков и капиталистов почиет само божество, то конечно тем самым устранена будет для них „возможность насилия человека над человеком“. Можно оставить в стороне вопрос, не является ли утверждение, что в каждом человеке, — напр., если ограничиться литературными персонажами самого Толстого, в Наполеоне, посылающем на смерть миллионы живых людей, или в Николае

[1] О взглядах на бога Толстого см. в XIV т. изд. 1914 г. статью „Мысли о Боге“. — „Я освободился от обмана, я узнал хозяина“ — говорит Левин стр. 306, изд. 1914 г.

Ростове, усмиряющем крестьянский бунт, или в князе Андрее, утверждающем, что если сечь мужика, то ему не больно, а полезно, ибо он все равно скот, и т. д., — живет „одинаковое божеское начало", не является ли подобное учение весьма оскорбительным для толстовского бога — подлинный социальный смысл толстовского учения о любви ко всем, как нравственного правила, вытекающего из положения о божественной сущности всех людей, и так совершенно ясен: как мораль опрощения и непротивления, так и оно, родившись в конечном счете из страха перед социальной революцией, было лишь средством отсрочить на возможно более продолжительное время тот для „богатых классов" страшный миг, когда „истощится терпение тех людей, которых мы душим".

Толстой до этого взрыва не дожил.

Революция, грозный признак которой всю жизнь стоял перед его глазами, уничтожила — вопреки его когда-то высказанному мнению — как царя, так и земельную собственность, и не только земельную, но и капиталистическую.

На смену помещикам и капиталистам пришел новый господствующий класс — рабочий класс. В переходный от капитализма к коммунизму исторический период, в окружении империалистических держав извне и неизбежной в эпоху нэпа новой своей буржуазии, мораль рабочего класса может быть только „классовой моралью", оправдывающей его „господство и интересы" и в этой его классовой морали, где верховным принципом является благо мирового рабочего класса и его спутников на путях к коммунизму, нет и не может быть места основным принципам толстовской морали — опрощению, непротивлению насильникам и „христианской" любви ко всем

людям, кто бы они ни были — фашистские молодцы Муссолини, твердолобые ли банкиры лондонского Сити, оголтелая солдатчина китайских милитаристов, националистические налетчики Пилсудского или белогвардейские подрывники и интервенты:

— „Не мир, а меч“ — таков лозунг нашей классовой пролетарской морали [1].

[1] Этим конечно не исчерпывается „мораль“ рабочего класса в переходный к коммунизму период.

ДВА „ЗЕРКАЛЬЦА“ Л. Н. ТОЛСТОГО

I

В своей „Исповеди“ Л. Н. Толстой сообщает, что до происшедшего в его взглядах и в его жизни „переворота“ искусство было для него „зеркальцем“, в котором он отражал жизнь со всем ее „комическим, трагическим, прекрасным, ужасным, трогательным“.

„Мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства“.

Отражая как в зеркале в поэзии жизнь, Л. Н. Толстой усматривал вместе с тем в искусстве средство заставить человека полюбить жизнь и притом во всех ее проявлениях.

Еще в 1865 г. в (неотправленном) письме к писателю П. Д. Боборыкину Толстой так определял задачи искусства:

„Цель художества в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных никогда не истощимых всех ее проявлениях“ [1].

---

[1] Гусев, Толстой в расцвете художественного гения.

А для того, чтобы через искусство заставить людей полюбить жизнь, художник очевидно сам должен любить то, что он изображает в своем произведении и в совокупности своих произведений.

Любовь к изображаемому — таково в самом деле по убеждению Толстого непременное условие „художественности“ поэтического произведения.

В предисловии к русскому переводу романа немецкого писателя Поленца „Крестьянин“ (относящемся, правда, уже к концу девяностых годов) Толстой называет этот роман „настоящим художественным произведением“ в значительной степени потому, что автор „любит то, про что говорит“, потому что „весь роман проникнут любовью к тем людям, которых автор заставляет действовать“.

Так ясно и метко определил Л. Н. Толстой смысл и цель искусства.

Но „зеркальце“, которое он наводил на жизнь и в котором улавливал ее „отражение“, было изготовлено в старой дворянской мастерской, и если Толстой был убежден (сознательно), что пером его водит „любовь“, то (бессознательно) его любовью водило классовое чувство. В классовом характере творчества Толстого — его слабость и его сила.

Там, где классовое „аристократическое“ чувство не могло себя ярко выявить, не могло должным образом воздействовать на творческий импульс, Толстой и вообще не мог проявляться как художник, — весь его огромный изобразительный дар в таких случаях давал осечку.

Известно, с каким интересом Толстой приступил к работе над историческим романом о Петре I.

„В нем (во времена Петра) — начало всего“, — писал он А. А. Толстой (5 июня 1872 г.).

„Но что за эпоха для художников! Весь узел русской жизни сидит тут“, —

повторяет он в письме к Страхову (17 декабря 1872 г.)

Много было перечитано для романа, был сделан ряд набросков и все-таки в конце концов Толстой был вынужден отказаться от своего замысла — он не смог „любовно“ вжиться в эту эпоху и в тогдашних людей.

„Из петровской эпохи я не мог написать потому, — признавался он, — что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас“.

Не было тогда тех социальных условий, с точки зрения которых Толстой „проникал“ в души людей и в „душу“ эпохи и потому петровское время, этот „узел русской жизни“, и не могло быть им художественно преодолено, должно было остаться для его художественного гения книгой за семью печатями.

Но и более близкие по времени, нежели петровская старина, эпохи отражались в его „зеркальце“ не в их объективном бытии, а преломленные сквозь „душу“ того класса, который выражал Толстой уже на иной ступени его исторического бытия по сравнению с описываемой эпохой.

Так, „время отечественной войны“ Толстой как автор „Войны и мира“ смог художественно воссоздать, художественно решить, только поставив на место той эпохи свою, — свой класс, с его бытием и сознанием, какими они определились в шестидесятые годы, после освобождения крестьян. На эту черту давно и правильно было указано критикой.

„Князь Андрей Болконский, — писал Анненков, — думает и судит разумно, но не разумом своей эпохи“. „Не слишком ли этот стиль во многих случаях похож на

психический стиль самого гр. Толстого? — спрашивал недоуменно К. Леонтьев. И при первом чтении в 68 г. я это не-веянье вообще 12-м годом почувствовал и так сильно, что в первое время был очень недоволен „Войной и миром“... С тех пор я перечел „Войну и мир“ несколько раз, и могучий дух Толстого со всяким разом все больше и больше подчинял меня, но все-таки его дух, а не дух эпохи. Я, как упрямый Галилей, твержу про себя: прекрасно, но веет что-то не тем“. [1]

Л. Н. Толстой, впрочем, и сам понимал (как ни покажется это выражение на первый взгляд неуместным, поскольку идет речь о Толстом, столь неодобрительно выражавшемся о марксизме) „классовую“ ограниченность своей любви к жизни и к людям и, следовательно, классовую искривленность своего „зеркальца“, при помощи которого он, как он выражается в „Исповеди“, „заманивал“ к жизни своих многочисленных читателей и почитателей.

В одном из черновых набросков предисловия к „Войне и миру“ Л. Н. Толстой открыто признается:

„В сочинении моем действуют только князья, говорящие и пишущие по-французски, как будто вся русская жизнь того времени сосредоточивалась в этих людях.

Я согласен, что это неверно и нелиберально и могу сказать один, но неопровержимый ответ.

Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне не интересна и наполовину непонятна“.

Если бы эти строчки писались Толстым несколькими десятилетиями позже, то он прибавил бы, несомненно

[1] Гусев, Толстой в рисунке художественного чтения.

к этим для него не интересным и наполовину понятным социальным типам еще и рабочего. Напротив —

„Аристократия (того времени, благодаря памятникам того времени и другим причинам) мне понятна, интересна и мила".

Эти слова из чернового наброска предисловия к „Войне и миру" могли бы служить эпиграфом ко всему художественному творчеству Л. Н. Толстого.

II

Когда вышли в свет „Казаки" Толстого, критик журнала „Северная пчела" назвал способ повествования автора — „джентльменским".

„Тот же спокойный джентльменский рассказ" и т. д.

Если уже пользоваться по отношению к Толстому английским словом, было бы пожалуй естественнее назвать его не „джентльменом", а „сквайром" — деревенским помещиком (отвлекаясь от того, что „сквайр" скорее средней руки помещик). Его творчество есть исповедь именно деревенского (родовитого) помещика. Это центральный образ среди всех им созданных образов, центр, вокруг которого вращается весь им сотворенный художественный мир, то в конечном счете „зеркальце", сквозь которое он улавливал и фиксировал отражения жизни — помещик (древнего рода), уходящий от светского общества, из городской сутолки в свою деревню, не меняющий свою независимость помещика — хозяина на бюрократическую службу государству, предпочитающий мимолетным светским связям и вспышкам страсти тихую прочную семейную жизнь, живущий с крестьянами (до их освобождения) как отец со своими опекаемыми, (а после освобождения) как с товарищами по общему

делу. Таковы Нехлюдов в оставшемся незавершенным „Романе русского помещика“ и в „Утре помещика“, таков до известной степени князь Андрей Болконский, который бежит от государственной службы у бюрократа Сперанского в свое поместье, к своим мужикам, таков в особенности Константин Левин в „Анне Карениной“, и еще раз — в одном из позднейших произведений религиозно-аскетического периода, в „Дьяволе“ — Иртенев.

И именно эти деревенские сквайры, хозяйничающие в своем поместье, как делали их деды, а не светская знать — подлинная аристократия.

„— Ты считаешь Вронского аристократом,—вспыхивает Левин,— но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем ни была в связи. Нет уж извини, я считаю аристократами себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три — четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования и которые никогда ни перед кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жил мой отец, мой дед. Мы — аристократы!“

Все эти деревенские помещики показаны и раскрыты толстовским „зеркальцем“, несомненно, с „любовью“ и без остатка, до конца. И под углом зрения этого деревенского помещика дан Толстым „любимый“ им женский образ. Не светская прелестница, живущая для страсти нежной или бурной, не Эллен и не Анна, а жена, ревнующая мужа как своего хозяина, и мать, с упоением кормящая своих младенцев — наследников поместья — как отчасти Наташа Ростова, как Китти Щербацкая — Левина.

„Отчего это, — недоумевал Тургенев (письмо к Борисову от 1871 г.), — отчего это у него все хорошие жен-

щины не только самки — даже дуры. И почему он старается уверить читателя, что коли женщина умна и развита, то непременно фразерка и лгунья".

Может показаться оскорбительным, если от жены помещика мы перейдем к лошади, но лошадь играет большую роль в хозяйстве помещика, и не мы виноваты, если она принадлежит к числу тех объектов, которых „зеркальце" Толстого отражало „с любовью", и притом с большей любовью, нежели, напр., семинариста или мужика.

Еще в 1856 г. Толстой заносит в свой дневник: „хочется писать историю лошади". В том же году Тургенев гостил в имении М. Н. Толстой и гулял с Львом Николаевичем по выгону, где стояла старая лошадь.

„Тургенев, хочешь я тебе раскажу, что чувствует и думает эта лошадь?" предложил Толстой и Тургенев потом рассказывал (в письме к Олсуфьевой 1882 г.): „И как начал Толстой, то, право, он, кажется, сам превратился в старую клячу, до того наглядно, неумолимо логично, умно и художественно разобрал он все, что происходило в сознании этой лошади".

Так был написан „Холстомер", так возник потом образ Мухортого („Хозяин и работник"). Известный датский критик Брандес был поражен способностью Толстого проникать в столь трудную для поэтического исследования область.

„И откуда берется у художника такое проникновение в психику животного! Я понимаю Достоевского, сумевшего проникнуть в самые глубины человеческой души— но понять душу животного, проанализировать психологию бессловесной лошади этот талант дан только исключительно избранным и одаренным натурам". [1]

[1] Можно было бы указать на роман О. Мирбо: „Dingo", где дана „психология" собаки — Мирбо не исключительно одаренная натура.

Достоевскому, представителю совсем иного „стиля“, разумеется, не могла притти в голову мысль заняться таким сюжетом, как „психология“ лошади, но для помещичье-деревенского „стиля“ это явление и естественное и закономерное.

А наряду с лошадью — собака, охотничья собака. Как нельзя изъять из обихода деревенского помещика охоту, а из стиля этого класса столь любовно написанные картины охоты в „Войне и мире“, в „Анне Карениной“, в „Воспоминаниях“, так с неменьшей „любовью“ отразило и зафиксировало „зеркальце“ Толстого и левинскую Ласку, раскрыв ее „психический“ мир как в „мирное“, так и в „военное“ (охотничье) время, более проникновенно, нежели — в том же романе — характер и переживания сельских рабочих, работающих в имении хозяина Ласки.

III

„Жизнь чиновников, купцов, семинаристов и мужиков мне не интересна и наполовину непонятна“, — признавался Толстой. Из всех перечисленных здесь социальных слоев и типов крестьянство все-таки более интересовало деревенского помещика. Крестьянин-крепостной, крестьянин-сосед, крестьянин-батрак — властно входили в поле зрения деревенского сквайра. В картине жизни, воссозданной Толстым, крестьянство поэтому не совсем забыто. Однако, крестьянин существует здесь не столько сам по себе, сколько для барина. В ранних помещичьих романах Толстого, в „Романе русского помещика“ и в „Утре помещика“ крестьяне прежде всего объект для филантропических экспериментов барина, как в „Войне и мире“, где крестьянство показано лишь в сцене бунта,

с одобрения автора усмиряемого молодым помещиком по всем правилам военной экзекуции, „крестьянин“ Платон Каратаев служит лишь, как воплощение фаталистической покорности и коллективного начала, средством указать мятущемуся в поисках смысла и правды жизни помещику (П. Безухову) возможный выход из тупика, как, наконец, в „Анне Карениной“, где, повторяем, сельские батраки по поводу которых Левин пишет целый трактат о реформе сельского хозяйства, не показаны вовсе, хозяйство зажиточного кулака-крестьянина, ведущего свое хозяйство при помощи не только семьи, но и двух рабочих — именно по-кулацки — тоже введено лишь как пример для помещика (Левина), не умеющего вести свое помещичье хозяйство с наемными рабочими рационально и выгодно.

Впрочем, чем ближе к моменту окончательного „просветления“, тем чаще Толстой, ставил перед собой задачу изобразить крестьянство „в себе“, а не для барина. В семидесятых годах, еще до работы над „Анной Карениной“, он решился вернуться к старому замыслу о декабристах, в новой постановке темы, — встреча ссыльного декабриста с крестьянами-поселенцами — а это была одна из давних и любимых его мыслей о том, как „русский народ“ заселяет мирным путем все пространства востока [1] — роман, в котором главную роль должен был играть крестьянин, большая крестьянская семья — „роман крестьянский“. Он тщательно подготовляет материал для этого романа, набрасывает ряд отрывков и в конце концов отказывается и от этого замысла, как от романа о Петре I.

[1] См. запись Софьи Андреевны от 1876 г. (Гусев, у. с.) Та же мысль дважды у Левина (I, стр. 291, II — 207, цит. по изд. Сытина, 1914 г.).

„Крестьянский быт мне особенно труден и интересен, — заносит в свой дневник его жена, — а как только описываю свой — тут я как дома".

В девяностых годах Толстой задумывает написать рассказ „Кто прав" и начинает его не так, как нужно было бы:

„Я понял, что надо начать с жизни крестьян, что они — предмет, они положительное, а то (жизнь верхнего класса) тень, то отрицательное".

Наконец, оценивая роман Поленца „Крестьянин", он квалифицирует его, как художественное произведение, потому что „содержание его важно, касаясь жизни крестьянства, т. е. большинства людей, стоящих в основе всякого общественного устройства".

Но самому создать такой „крестьянский роман" Толстому не удалось, — его „зеркальце" здесь явно отказывалось служить, оказалось неспособным уловить и зафиксировать „отражение" этого большого куска жизни и этих лишь „наполовину" ему „понятных" людей.

К числу таких для него „не интересных" и „непонятных" сторон жизни и людских типов Толстой относил — как он сам признавался — также и чиновников, а это тем более заслуживает внимания, что речь идет у него не о каких-нибудь мелких сошках в роде гоголевского Акакия Акакиевича или Девушкина Достоевского — это чиновная знать, бюрократы-аристократы, хотя, с его точки зрения, и выскочки, parvenues, вроде Каренина или военного министра Чернышева (в „Хаджи Мурате"), и несмотря на их принадлежность к знати и к двору, или вернее именно поэтому эти образы нашли в нем незаинтересованного и непроникновенного истолкователя. К числу „неинтересных" и „наполовину" ему „понят-

ных" образов-характеров Толстой относил, как выше указано, и „семинаристов" — разночинную интеллигенцию. На этот мир его „зеркальце" неохотно наводило свой свет и отражало оно этот мир в высокой степени искривленно. Уже в третьей части „Детства, отрочества и юности" выведено им несколько студентов — демократического происхождения и склада, без всякого желания однако „любовно проникнуть" в их внутренний мир, главным образом как некий своеобразный контраст к светскому comme il faut. А когда в шестидесятых годах разночинная интеллигенция выступила вперед сомкнутой боевой колонной, когда на арену русской жизни выступили эти „новые люди", когда в 1862 г. Тургенев опубликовал свой роман „Отцы и дети", а в 1863 г. Чернышевский свой роман „Что делать", Толстой ответил комедией, которую он мечтал поставить на сцене Малого театра, комедией, теперь напечатанной — „Зараженное семейство", где Базаровы, Кирсановы, Лопуховы и Рахметовы превращены в жалкие, вовсе даже не смешные и не ядовитые, а лишь плоско поддетые карикатуры, так что даже Островский, прочтя комедию, выругался — „безобразие".

Наряду с „семинаристами" Толстой относит к числу „неинтересных" и „наполовину" ему понятных фигур — характеры еще и купцов и вообще буржуа. Этот мир в самом деле остался вне „зеркальца" Толстого. В 70-х и 80-х годах этот класс уже был хозяином жизни. Это ясно просвечивает на каждой странице „Анны Карениной". Они — эти буржуа — скупают дворянские поместья, создают банки и всякие акционерные общества и от них зависит теперь судьба именитых потомков Рюрика. Но никто из них — ни Рябинин, покупающий лес сестры

кн. Облонского, ни все эти банкиры — „евреи“ — Шюцбурги, Мальтусы, Болгариновы не показаны в светском и помещичьем романе „Анна Каренина“: о них только говорят, говорят с завистью или с негодованием, но проникнуть в их душу, осветить в них человека (хотя бы классового) на это не было способно „зеркальце“ Толстого, потому что сам он вполне разделяет реплику Левина кн. Облонскому:

„Как тебе не противны эти люди“?

К числу „наполовину непонятных“ ему и „неинтересных“ персонажей Толстой, хотя и не оговаривает это, но относит и рабочего.

Рабочий — фабричный — в лучшем случае фигурирует у него опять-таки не „сам для себя“, а для барского мира, как тот рабочий с папиросной фабрики, который спасает во время катастрофы на Ходынке светскую барышню от физической смерти и, отказавшись от денежного за этот подвиг вознаграждения, преподает ей к тому еще и нравственный урок, полезный для ее души (Ходынка), или — как испорченный городом и революционерами пьяница и вор, в назидание крестьянину и как противоположность крестьянину („От нее все качества“).

Таково было „зеркальце“ Л. Н. Толстого до нравственного переворота, в нем происшедшего. Читатель, который смотрел на изображенную сквозь это „зеркальце“ жизнь, получал от этого искусства, несомненно, некоторую „заманку к жизни“. Он невольно заражался „любовью“ к ней, но, конечно, не ко „всем ее проявлениям“, а только к тем, которые любил сам творец этих „отражений“, которые он в самом деле „любовно“ раскрывал — но это

был очень ограниченный мир — мир деревенского помещика, его внешнего уклада и внутренних движений.

IV

В семидесятых — восьмидесятых годах этот деревенский сквайр (в условном значении) чувствовал и сознавал, что вместе с ростом капитализма на него все отчетливее и беспощаднее надвигается социальная катастрофа. Он видел и сам испытал, как старое дворянство в новых условиях жизни беднеет.

„Мне досадно и обидно видеть, — восклицает Левин, — со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу и несмотря на слияние сословий очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши. Это было бы ничего; прожить по-барски— это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают землю — мне не обидно. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то не знаю сказать невинности. Тут арендатор - поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное именье. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей и т. п.“

Этот деревенский помещик видел далее, как победоносно растет капитализм с его спутниками, — городами, фабриками, банками — и ему казалось, что именно в этом корень обеднения России, т. е. обеднения дворянства.

„Левин писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что ее бедности в последнее время содействовала ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности, пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собой централизацию в городах и вследствие этого

в ущерб земледелию развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры“.

И как душевный рефлекс этого вытеснения дворянства новым классом — буржуазией (а, конечно, не в результате смерти брата), как психический рефлекс этой социальной катастрофы, постигшей деревенского сквайра, Левин — Толстой сжег все то, чему раньше поклонялся и поклонился тому, что раньше отрицал.

Он решительно поставил перед собой вопрос — что он, зачем он живет, во имя чего нужно жить, если за жизнью идет смерть?

От языческого отношения к жизни он поднялся к отношению христианскому, к жизни для „души“, для „бога, для „нирваны“. [1]

И тогда он изменил свое отношение к искусству.

Если раньше ему „весело было смотреть на жизнь в это зеркальце“, то когда жизнь потеряла в его глазах всякую„ заманчивость“, то он уже не мог служить искусству.

„Как же я могу заманивать других?“

Если раньше вся эта „игра светов“ комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного — „потешала“ его, то теперь, когда он понял, что „жизнь бессмысленна и ужасна“, то и самое „зеркальце“ не могло уже „забавлять“ его.

„Зеркальце это стало мне или ненужно, излишне или смешно или мучительно“ („Исповедь“).

И тогда Толстой разбил э т о свое зеркальце и поспешил заменить его настоящим, большим зеркалом, (христианское искусство), но и это зеркало оказалось на поверку тоже во всяком случае лишь „зеркальцем“.

---

[1] „Религия и нравственность“.

Если первое, которое доставило ему столько радостей и которое должно было по его замыслу заставить людей „полюбить" жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых всех ее проявлениях, было как оказывается, сделано в дворянско-помещичьей мастерской, то второе он нашел в старой кладовой средневековых суеверий. Если раньше жизнь отражалась сквозь его первое зеркальце, но „не во всех проявлениях" и притом наиболее „заманчиво" лишь в разрезе переживаний деревенского помещика, то на склоне лет, променяв жизнь для „корысти" на жизнь для „души" и для „бога", Толстой отражал богатую и пеструю жизнь через свое второе зеркальце, как некое царство Вельзевула. Мир, когда-то столь интересный и милый для Толстого стал ареной действия темных адских сил. Крестьянки отравляют своих мужей и заставляют любовников заживо закапывать родившихся от прелюбодеяния младенцев („Власть тьмы"). Помещики застреливают крестьянок, не будучи в силах сохранить верность жене (первый вариант „Дьявола"). Светские щеголи уходят в монастырь и соблазняемые красавицами, отрубают себе палец, чтобы восторжествовать над диаволом („Отец Сергий"). И вся земля наполнена адскими духами, со всех сторон обступившими грешного человека. По миру гуляют диаволы церкви, науки, искусства, техники, книгопечатания, социализма („Восстановление ада"). И никуда не уйти грешному человеку от этих назойливых, всю вселенную заполнивших чертей.

В первоначальном наброске рассказа „Фальшивый купон", где показано сквозь это новое толстовское „зеркальце", как зло совершенное влечет за собой все новое зло, дело было представлено так: [1]

[1] Первоначальный варьянт см. „Посмертные худ. произведения", т. I.

Когда отец начинает на сына кричать, тотчас —

„чертенек, сидевший у него на плече, надулся, раздвоился и тот, который был поближе, перескочил на плечо гимназисту...“

Гимназист сбывает фальшивый купон в магазин фотографических принадлежностей и уходит.

„Между тем, чертенок, сидевший на плече у Мити, распух до порядочной величины и двойника своего оставил в лавке“

Хозяин магазина выговаривает жене, зачем она взяла фальшивый купон.

„Чертенок, оставшийся в лавке, сначала не знал, где пристроиться, но как только хозяин закричал, он уже сидел у него на плече и радостно смеялся.“

Сторож Василий является свидетелем роскошной барской жизни, отданной радостям тела, и что же?

„Около всех этих господ и старых и молодых вились, как мошки в жаркий день, маленькие чертенята“.

Невольно Василий с завистью поглядывал на эту привольную жизнь и всякий раз, как он думал о том, что хорошо было бы так пожить,

„чертенята раздваивались, перелетали к нему на плечо и превращались в одного увеличивающегося большого пухлого дьявола.“

Если сквозь первое „зеркальце“ Толстого жизнь преломлялась, как видение теснимого капитализмом и буржуазией деревенского помещика Константина Левина, то второе давало картину мира, как видение ушедшего от жизни аскета отца Сергия.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ Л. Н. ТОЛСТОГО

Творчество художника тем отличается от творчества ученого, что он строит свой мир не из идей, а из образов. Художественное творчество есть творчество образов. Самые образы могут быть разного содержания: или не психологического — образы природы, образы вещей — или же психологического — образы человека, образы характеров. Психологические образы заслуживают особенного внимания, так как в них особенно наглядно находит себе выражение социально - классовая природа их создавшего художника. Одни из этих образов созвучны их творцу, от других он отталкивается. Через эти образы художник воздействует на чувства, мысль и волю их воспринимающего читателя, направляет его чувство, мысль и волю сознательно или бессознательно в ту сторону, какая желательна для класса или группы класса, от имени которых и глазами которых творит данный художник слова. Эти психологические образы значительны потому, что через них в особенности легко и надежно словесное искусство выполняет свою социальную функцию воспитания общества, пока оно разделено на классы,

в том или ином классовом направлении. В своем историческом развитии классы переходят от состояния зарождения и роста к состоянию господства и расцвета и, наконец, к состоянию упадка и исчезновения. Психологические образцы, творимые художником, могут поэтому выражать состояние того или иного класса в один из этих трех указанных исторических моментов.

Подвергнуть рассмотрению все образы, созданные Л. Н. Толстым, нет возможности — достаточно будет остановиться на наиболее для него характерных и показательных.

I

Один для нас — современников величайшей революции — особенно близкий и интересный образ не нашел в „великом писателе земли русской", как Толстого окрестила старая интеллигенция, внимательного изобразителя и истолкователя. Л. Н. Толстой всегда требовал от художника „любви" к тому, что он изображает, о чем он пишет — только при э т о м условии, утверждал он, произведение выйдет художественным. Этой „любви" Толстой не находил в себе по отношению к образу революционера, человека, активно, борьбой, насилием даже стремящегося видоизменить в известном направлении внешнюю общественную действительность.

В продолжение XIX и XX веков у нас сменились три полосы подъема революционного движения: дворянская, мелкобуржуазно-интеллигентская и пролетарская. Дворянская революция относится к 20-м годам прошлого века, когда известная часть дворянского класса — „декабристы" — восстала против самодержавно-крепостнического строя с намерением достигнуть ограничения монархии

и упразднения крепостного права, создать предпосылки, необходимые для развития буржуазно-капиталистического хозяйства и общественных отношений, ему соответствующих. Вожди декабризма были казнены Николаем I в 1825 г. Три года спустя (1828 г.) родился Л. Н. Толстой. Тени казненных дворян-революционеров как бы осенили его колыбель. Этот образ долго волновал Толстого. В 60-х годах, когда крепостное право только что пало, отмененное сверху, дабы оно не было упразднего снизу, Толстой работал над историческим романом, героями которого должны были стать декабристы. Так как движение декабристов выросло некоторым образом из Отечественной войны, когда побыв в Европе, офицеры-дворяне познакомились там с более передовыми формами хозяйства и более свободными политическими учреждениями, то работая над своим замыслом, Толстой отодвинулся назад к 1806—1812 гг. и создал в итоге другой роман — „Война и мир". Лишь в самом конце романа, в его эпилоге, некоторые из его героев примыкают в самом деле к движению декабристов. Пьер Безухов старается распропагандировать Николая Ростова: „В судах воровство, в армии одна палка... мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят!"

Наташа Ростова, став его женой, всецело разделяет политические убеждения мужа и с интересом выслушивает его сообщение о том, как он ездил в Петербург по делам „общества", где без него „все распалось", но он всех „соединил", ибо мысль его так „проста и ясна":

„Я говорю: возьмитесь рука с рукой те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя: деятельная добродетель".

Однако ни самое революционное движение декабристов, ни участие в нем Пьера Безухова в эпилоге романа не показано вовсе.

Толстой потом вернулся к мысли все же написать роман о декабристах, но дальше отрывков не пошел, причем и в этом лишь начатом, но недописанном романе он имел в виду показать опять-таки не самое развитие декабрьского движения, закончившегося революционным выступлением на Сенатской площади в 1825 г., а встречу сосланных декабристов с крестьянами-переселенцами в Сибири.

Так не дал Л. Н. Толстой в своих произведениях законченного образа революционера-дворянина. Он не дал и не смог его дать как потому, что декабристы своими задуманными конституционными и экономическими преобразованиями рыли могилу для старого дворянства, так и потому, что после реформы 1861 г. как самодержавию, так и дворянству приходилось соединенными усилиями отстаивать себя от новых, снизу шедших революционных волн — сначала от революции мелкобуржуазной, интеллигентско-крестьянской, а потом позже от более грозной, от революции рабочей. Так как оба эти класса были враждебны дворянству, то образ революционера-разночинца, революционера-народника и образ революционера-рабочего и не могли стать и не стали на самом деле для Толстого объектами внимательного, заинтересованного, „любовного“ изучения и воспроизведения.

В 60-е годы на историческую сцену выступила революционная, разночинная (мелкобуржуазная) интеллигенция, ориентировавшаяся в своих революционных устремлениях на крестьянство, которое однако не было революционным. Эти „новые люди“ нашли своего идео-

лога в лице Чернышевского, родившегося в том же году, как и Толстой. Толстой изобразил этих „новых людей", объявивших войну дворянству и дворянской культуре, в своей недавно лишь опубликованной комедии „Зараженное семейство", как зловредных „нигилистов", своим учением разлагающих патриархальный и, по его убеждению тогда (в 60-х годах), здоровый быт и нравы дворянского поместья. В лице „семинариста", студента-естественника Твердынского, Толстой дал слабый, нехудожественно сделанный карикатурный образ тех „новых людей", которых Чернышевский изобразил в своем романе „Что делать?", воспитавшем целые поколения революционеров-интеллигентов.

В 70-х годах революционно-интеллигентское движение в форме народничества приняло довольно значительные размеры. Но и оно не нашло в яснополянском помещике внимательного и сочувственного наблюдателя и изобразителя. В романе „Анна Каренина" Толстой мельком, не уделяя ему ни много места, ни хоть сколько-нибудь расположения, рисует образ народника-„коммуниста" (Крицкого) и, чтобы его окончательно опорочить, делает его приятелем брата помещика Левина, Николая, совершенно потерявшего под собою почву, опускавшегося на „дно": только такие беспочвенные и гибнущие люди могут, оказывается, считать себя близкими к этим (мелкобуржуазным) революционерам.

Мелкобуржуазная, интеллигентская с оглядкой на крестьянство революция („Земля и воля", „Народная воля") 70-х годов была в 80-х годах окончательно подавлена. В 90-е годы поднялась новая революционная волна, чтобы в начале XX века вылиться в открытое и притом массовое революционное выступление, — револю-

ция пролетариата. Л. Н. Толстой к тому времени уже успел выработать свое пресловутое учение о непротивлении и о том, что рабочий „народ" сам виноват в своем угнетенном положении. В своем „Письме революционеру" (1909 г.) он писал:

„Горы книг написаны Марксами, Жоресами, Каутскими и другими теоретиками о том, каким по открываемым ими историческим законам должно быть человеческое общество и как оно должно быть устроено; о том же, как устранить главную ближайшую основную причину зла — насилие, совершаемое рабочими над собой, не только никто не говорит, но, напротив, все допускают необходимость того самого насилия, от которого происходит порабощение народа".

Образ рабочего-революционера был поэтому Л. Н. Толстому столь же чужд, непонятен, и неинтересен, как и образ революционера-разночинца. В пьесу „От нее все качества", направленную против алкоголизма (крестьянин пропивает в городее деньги, нужные для его хозяйства), Толстой вставил фигуру „прохожего" рабочего, пролетария, члена социалистической партии, участника революции (1905 г.), уволенного с фабрики, ставшего бродягой, ворующего у приютившего его крестьянина чай, и заставляет его смешно коверкать иностранные слова. Пьеса была предназначена для деревенского театра и, преследуя, с одной стороны, хорошую цель — отучить крестьянского зрителя от водки, ставила себе и другую, и уже совершенно классово-тенденциозную, задачу — помочь крестьянству освободиться от тлетворного, по убеждению Толстого, влияния революционных рабочих.

Итак, Л. Н. Толстой не сумел найти в себе достаточно „любви", чтобы внимательно, всесторонне, углубленно,

сочувственно изобразить образ революционера, а „любви“ он в себе не нашел потому, что дворянин-революционер начала XIX в. преследовал буржуазные цели, да и во второй половине XIX в. никакая дворянская революция не была уже возможна, а революционер-разночинец и революционер - пролетарий были классовыми врагами дворянства.

II

Иному образу принадлежала вся „любовь“ художника Л. Н. Толстого. Это образ „русского дворянина“, отходившего от своего класса, от старого дворянства, которое в силу экономического развития страны или было вынуждено приспособляться к буржуазным условиям хозяйствования, быта, идеологии и жизни, или же в противном случае два пути: или социально опуститься, умереть или же пойти дорогою нравственного перерождения — опрощения, покаяния, аскетического разрыва с мирской суетой.

После падения крепостного права, в последние десятилетия прошлого века, образ падающего на „дно“ аристократа неоднократно тревожил и преследовал Толстого. Дважды дал он этот жуткий образ социально-умирающего человека, не лишенного однако нравственных качеств доброты, иногда и самопожертвования: сначала в романе „Анна Каренина“ (70-е годы) в лице Николая, несчастного брата Левина, опустившегося, взявшего в жены бывшую проститутку, умирающего в нужде и в заброшенности, и позже (в 1900 г.) в драме „Живой труп“, в лице Феди Протасова, не пожелавшего жить по-буржуазному („наживать“ деньги), неспособного и разрушить всю эту „пакость“ (буржуазный уклад), не будучи „героем“:

прокутив свое и жены состояние, он ушел к цыганам, полюбил чистой любовью цыганку и, чтобы дать жене возможность вторично выйти замуж, насильственно кончает с собой.

Если этот образ аристократа, павшего на „дно", неприспособленного к условиям воцарявшейся во второй половине XIX в. буржуазной действительности, трактован Толстым с несомненной жалостливой „любовью", то с особенным интересом и сугубым вниманием создавал он образ того же социально-беспочвенного дворянина, спасающегося от социальной гибели путем нравственного перерождения.

Впервые этот образ показан Толстым в повести „Казаки" (1863 г.) в лице „русского дворянина", „члена общества" (т. е. аристократического, светского общества) Оленина. Молодой аристократ-богач, разочаровавшись в жизни своего класса, мыслит свое перерождение еще не столько как „нравственное", сколько как социальное: он уезжает на Кавказ, в казачью станицу, мечтая зажить простой жизнью станичника, мечтая „купить избу, скотину, жениться на казачке".

„Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде: быть, например, министром, полковым командиром?".

Здесь, вдали от „цивилизации", т. е. от светского и городского общества, он сознает себя сначала обновленным, любовью охватывая не только „всех" людей, но и все явления природы, но слиться безраздельно с этим другим классом он не смог и, отвергнутый станичниками, как человек чужой, он возвращается назад в опостылевший ему мир светских людей.

Много лет спустя, в 70-е годы, образ Оленина превратился в художественном воображении Толстого в образ помещика Константина Левина в романе „Анна Каренина". Левин с грустью и возмущением видит, как старое дворянство беднеет, как купцы перекупают дворянские поместья, как растут города и промышленность, как все труднее хозяйничать помещику, пользовавшемуся когда-то даровым крестьянским трудом, с вольнонаемными сельскими рабочими — материальные интересы все более кажутся ему ничтожными, он все решительнее отворачивается от всего земного и мирского и приходит, наконец, к выводу, что жить надо для „души" и для „бога" — „хозяина мира": — в „вере" в него он находит успокоение от душевного разлада и хаоса, который был лишь рефлексом, отражением в его внутреннем мире социального упадка его класса, вытеснявшегося другими классами из его былой позиции „хозяина" жизни.

Этот образ „русского дворянина", уходящего от мира в свое „религиозное сознание", превратился на рубеже XX в. в центральный образ романа „Воскресенье" в князя Нехлюдова. Если уже в Левине жило инстинктивное чувство виновности перед народом, за счет которого и трудом которого жили его предки-крепостники да и он сам, то это чувство обостряется в князе Нехлюдове до крайности лицом к лицу с крестьянкой, с которой он когда-то жил и которую бросил, толкнув ее на путь преступления, и он идет за ней в Сибирь искупить страданием свой „грех" перед ней, искупая в то же время „грех" своего класса перед народом.

Этот образ аристократа, сначала опрощающегося до крестьянина (Оленин), потом сменяющего эгоистические мирские интересы на религиозное сознание (Левин) и, на-

конец, охваченного жаждой жертвенного искупления своего некогда привелигированного положения (Нехлюдов), отлился в конце-концов еще в один новый образ — образ аскета-пустынника.

На склоне лет Толстого в высокой степени интересовала фигура легендарного Федора Кузьмича, предполагаемого или мнимого царя Александра I, который якобы не умер в Таганроге, а скрылся из дворца и ушел в Сибирь, где кончил свою жизнь одиноком отшельником, перерезавшим все нити с грешным миром: если Толстой так и не закончил свою повесть о Федоре Кузьмиче, то он потом дал тот же образ в лице блестящего придворного и светского кавалера, который, узнав, что его невеста была любовницей царя, ушел из мира и под именем отца Сергия зажил отшельником-монахом, стремясь потушить в себе аскетическим помыслом греховную волю к жизни.

С наибольшим вниманием и с наибольшей „любовью" лепил Л. Н. Толстой именно этот центральный образ своих художественных видений, образ уходящего от своего класса русского дворянина, возмещающего утраченное социальное господство и растущий социальный упадок своего класса сначала „опрощением", затем религиозной верой и покаянной жертвенностью и, наконец, отшельничеством аскета и монаха.

III

Наблюдая растущее обеднение дворянства, Константин Левин чрезвычайно возмущен тем, что барские поместья переходят в руки купцов (вроде Рябинина), находя в то же время совершенно законным, что часть земли помещичьей отходит к мужикам. Сознавая свой класс обреченным на социальную смерть, он, мысленно бунтуя

против нового хозяина жизни — против буржуазии, — готов уступить свое место крестьянину — трудящемуся земледельцу.

Образ крестьянина не мог поэтому не волновать и не интересовать Л. Н. Толстого. В его произведениях („Утро помещика", „Поликушка") зарисованы разнообразные типы мужиков, а в ненаписанном романе о декабристах он хотел отвести не малое место крестьянству. Однако, образ крестьянина, который он рисовал с особенной заинтересованностью и особенной „любовью", был не столько русским мужиком, каким тот был в действительности, сколько, с одной стороны, психологической противоположностью мятущегося, беспочвенного дворянина, а с другой стороны — отражением, проекцией того умонастроения, которое должно было спасти этого мятущегося дворянина от его внутреннего беспокойства, бывшего само лишь следствием социального упадка дворянского класса.

Впервые этот образ „крестьянина", спасителя аристократа, появляется в „Казаках" в лице дяди Ерошки, который настолько же уравновешен, спокоен, внутренно завершен, насколько Оленин—натура ищущая и мятущаяся, который живет настолько же непосредственно биологическим бытием, насколько Оленин скован сословно-классовой психоидеологической нагрузкой. А с другой стороны, дядя Ерошка своим биологическим мировоззрением, не признающим деления людей на сословия и нации, считающим зверя умнее человека, объявляющим, что „гулять с хорошей девкой не грех, на то бог ее создал, чтобы ее любить", указывает растерявшемуся и разочарованному барину спасительный путь к спокойствию и счастью.

В 60-е годы, когда Толстой работал над „Войной и миром“, дядя Ерошка превратился в крестьянина-солдата Платона Каратаева, который точно так же, с одной стороны, представляет прямую противоположность ищущему, как жить, Пьеру Безухову, а с другой стороны, своей фаталистической покорностью року (богу), своей антииндивидуалистической слиянностью со всем миром указывает Пьеру Безухову путь к личному душевному успокоению, к его душевному спасению.

Тот же образ „праведного“ мужика, призвание которого состоит в том, чтобы „спасать“ барина, после того как он — в годы крепостного права — его кормил, еще раз, хотя и мельком, появляется перед художественным взором Толстого в семидесятые годы, когда он писал „Анну Каренину“. Когда К. Левин запутался в своих исканиях истины и правды, когда на его пристальный вопрос „как жить“, ни один из патентованных философов не сумел ответить, он слышит в разговоре с крестьянином о „праведном“ мужике Фоканыче, который, не желая жить, как все, для „брюха“, для эгоистических животных целей, живет для „души“, „по правде, по-божьи“, „бога помнит“.

И как Платон Каратаев спасает Пьера Безухова, так Фоканыч, совсем не показанный, спасает Константина Левина, указуя ему путь к религиозному обновлению, которое не требовало от Левина ни отказа от своей земли в пользу крестьян, ни борьбы за то, чтобы вся земля отошла от помещиков к трудящимся земледельцам.

IV

В произведениях Л. Н. Толстого проходит и вереница женских образов.

Преобладает, естественно, образ женщины того класса, к которому Толстой принадлежал и который он выражал в своем художественном творчестве.

Среди созданных им женских образов есть такие, которые были ему менее близки, и такие, которые он рисовал с несомненнейшей „любовью". К числу первых принадлежат светские львицы, жрицы любви, как Элен Безухова в „Войне и мире" или ее более высокий и трагический вариант, Анна Каренина, нарушившая брачное обязательство ради счастья в любви, которого не нашла.

Первая „любовь" Толстого — это Наташа Ростова в „Войне и мире", от которой без ума все мужчины, как только ее увидят. Выйдя замуж за Пьера Безухова, она разделяет его политические убеждения декабриста и — после крушения движения — его ссылку в сибирские рудники.

Этот образ дворянки, сумевшей быть не только женой и матерью, но до известной степени и политически и даже революционно мыслить, хотя и под влиянием и в угоду мужу, затем навсегда исчезает из художественных видений Толстого.

В 70-е годы она уступает место Китти Щербацкой, уже не интересующейся никакими общественными вопросами, которая счастлива быть женой помещика Левина рожать и кормить детей, не расставаясь с рукоделием.

А потом, когда Л. Н. Толстой превратился в проповедника аскетической морали, в автора „Крейцеровой сонаты", исчезает из поля его зрения и этот образ женщины: женщина превращается в его глазах в исчадие ада, в воплощение смертного греха половой страсти, в крестьянку Степаниду, с которой жил до брака своего

помещик Иртенев и которая его, женатого, снова покоряет своим прекрасным телом: только убив ее (в первом варианте) или убив себя (в окончательной редакции), может он спасти себя от дьявольского соблазна („Дьявол“).

Но и сама она — этот воплощенный грех, эта роковая соблазнительница — изживает в конце-концов свое „дьявольское“ женское начало и превращается в кающуюся Магдалину, как та красавица, которая на пари пошла соблазнять отца-пустынника Сергия и, пораженная его нравственным величием, ушла от него в монахини, в неотмирные отшельницы („Отец Сергий“).

V

Как видно из сказанного, в тех образах, в создание которых Л. Н. Толстой вложил больше всего своей художнической „любви“, он выразил определенный комплекс чувств, мыслей, устремлений, а именно опрощения и покаяния, религиозной веры в бога, фаталистической покорности, аскетического обуздания плоти. Этот комплекс чувств, мыслей, устремлений относится, несомненно, к разряду пониженных, упадочных. В этом комплексе выражено сознание старо-дворянского класса, который в новых условиях жизни терял свое прежнее (до отмены крепостного права) господствующее положение. Социальный ущерб класса, закат этого класса породил психо-идеологический комплекс значительной нравственной чистоты, но вместе с тем и бесполезной для жизни и даже враждебной жизни.

На рабочего и крестьянского читателя этот выраженный в художественных образах комплекс чувств, мыслей и устремлений не сможет оказать никакого агитационного воздействия, так как с идеалами „опрощения“,

„покаяния“, „покорности року или богу“ и „монашеского отшельничества“ не построишь того нового общества, которое, победив старый мир классовой и национальной вражды, принесет трудящимся всего мира освобождение от всех зол собственнического прошлого.

Созданные Толстым образы в самом деле скорее отталкивают, нежели привлекают нашего нового читателя.

Рабочие по крайней мере в своих отзывах часто подчеркивают, что изображенная Толстым „среда им чужда“, а „переживания его героев им не понятны“.

Но вдумываясь внимательно в эти образы, которые не подействуют на него, как примеры для подражания, наш новый читатель — рабочий и крестьянин — поймет, что в них, в этих толстовских образах, увековечена по существу, сквозь все нравственные тревоги, искания и перерождения этих характеров, история социального упадка того класса, который был господствующим, владея крепостными, и был обречен — после их освобождения — уступить свое господство другим классам, которым принадлежало будущее.

Не мыслителя — философа (слабого, по выражению Плеханова), не социального реформатора (реакционного утописта, по определению В. И. Ленина) готовится чествовать советская общественность, а художника Толстого, классика Толстого.

Но именно художника отрицал в себе и стремился умертвить в себе творец „Войны и мира". Свое собственное искуство, а потом и искусство вообще, поскольку оно не преследует религиозных задач, он объявил — „ложью". Толстой не первый совершил у нас это, „великое отречение" (gran rifiuto, как выразился Данте).

Он сам понимал, что в этом отношении не оригинален.

В письмах конца восьмидесятых годов (к Страхову и Бирюкову) Толстой признается, что он

„всеми силами старается, как новость, сказать то, что сказано Гоголем",

что он в сущности

„открывает Америку, открытую Гоголем".

Отсюда естественная, не осуществленная однако мысль, издать избранные места „Переписки“, где — лучше не скажешь — Гоголь учил, кем должен быть писатель [1].

Отречение Л. Н. Толстого от искусства во имя морально-религиозной проповеди обычно объясняется — как и сам он его толковал — тем, что в нем на рубеже восьмидесятых годов произошел „религиозный переворот“, при свете которого и его собственное искусство и все современное ему искусство, как нерелигиозное, должны были ему казаться — ложью, ненужностью, опасным ядом. Подобное объяснение скользит по поверхности явлений.

Сознание определяется бытием.

Если вслед за автором „Мертвых душ“ выступает с „великим отречением“ автор „Войны и мира“, перед нами, очевидно, явление социального порядка.

Самоосуждение и самосжигательство обоих великих художников лишь особое выражение кризисов известных общественных групп, размалываемых мельничными жерновами исторического процесса.

Трагедия художника Толстого это трагедия классового художника.

I

Мысль о лживости, ненужности, вреде искусства впервые осенила Л. Н. Толстого еще задолго до происшедшего в нем „религиозного переворота“. Поскольку он осознал это настроение, оно было явно результатом сложного душевного процесса. С одной стороны, эта мысль была ему навеяна потрясшей его смертью брата, раскрывшей перед ним неожиданно ужасную „правду“ жизни — жизни, уничтожаемой смертью. В 1860 г. он пишет Фету,

[1] Бирюков, Биография Толстого, т. III.

что при свете этого нового сознания он потерял способность любить искусство — „прекрасную ложь“. Но не только из этого сознания выросло его тогдашнее отрицание искусства. В том же году Толстой пишет Чичерину:

„самообольщение так называемых художников... есть мерзейшая подлость и ложь“,

и поясняет:

„всю жизнь ничего не делать и эксплоатировать труд и лучшие блага чужие, чтобы потом воспроизвести их (скверно, ничтожно быть может) есть уродство и пакость [1].

Как видно: мотив отрицательного отношения к искусству уже иной.

Это дает право заключить, что за сознаваемыми самим художником субъективными переживаниями лежали еще им не осознанные объективные причины.

Был канун освобождения крестьян.

Дворянский класс в его старой формации был обречен.

В шестидесятые годы он однако был еще способен к борьбе за свое самосохранение. Именно в эти годы Толстой расцветает как художник и притом как художник своего класса и даже не лишенный боевого задора... Он не только создает грандиозное художественное полотно „Война и мир“, сочную, яркую, широчайшую картину быта и нравов своего класса — его героику, — его „Илиаду“ и за одно и „Одиссею“ под углом зрения несомненной апологии, но и боевым фронтом выступает против „новых людей“, против разночинцев, либералов

[1] Гусев, Толстой в молодости.

и радикалов, антагонистов дворянства, в комедии „Зараженное семейство“, которую намеревался „на страх врагам“ поставить на сцене Малого театра.

И все же характерно: чтобы выявить себя как художник, Толстой был вынужден уйти в прошлое своего класса (пусть и освещенное до известной степени под углом зрения его эпохи).

Прошло десять лет.

Л. Н. Толстой снова выступает с большим романом „Анна Каренина“.

На этот раз он счел возможным вдохновиться настоящим. И он дал уже не героику своего класса, а его— агонию. Все еще, правда, чувствуется в нем боевая классовая установка, — теснящая дворянское поместье буржуазия—банкиры, купцы, желездорожные тузы вскользь намеченные и выведенные трактованы с величайшим пренебрежением. Революционная, народническая интеллигенция (Крицкий) показана столь же мельком и столь же недоброжелательно. Крепостное прошлое явно идеализировано (в речах одного помещика, находящих сочувственный отклик в Левине). Все образы дворянского мира — несмотря на эту боевую установку романа — находятся в состоянии деградации, упадка — будет ли это Вронский, не без основания усматривающий в иностранном принце, к которому приставлен, свое собственное пустое и ничтожное будущее, или Облонский, смиренно вымаливающий для себя у капиталистов тепленькое местечко, или брат Левина Николай, опускающийся на дно, и, наконец, сам — двойник Толстого — Константин Левин, неспособный практически решить проблему нового (с наемными рабочими) хозяйствования и именно поэтому уходящий от жизни в аскетическое служение божеству.

Родной класс — опускаясь, деформируясь, умирая, не мог больше питать творчество своего великого художника.

В самом деле! Если в „Войне и мире“ и в „Анне Карениной“ Толстой еще мог развернуть широкие — социальные картины нравов и быта своего класса, в дальнейшем — и не вследствие старости, не вследствие упадка таланта — он мог становиться художником, уже почти только черпая материал для творчества в своем индивидуальном опыте.

Социальные картины сменяются личной исповедью (потенциально, правда, заложенной уже в его больших общественных романах).

Два события личной его жизни „особенно“ мучили его — как он передавал своему биографу на предмет включения этих данных в его жизнеописание, — „связь с крестьянской женщиной“, „до женитьбы“, а затем „преступление“, которое он совершил с горничной тетки, которую он соблазнил, „ее прогнали, и она погибла“ [1].

Одно событие дало основу для рассказа „Дьявол“, другое для романа „Воскресение“.

Два наиболее художественных произведения последних лет Толстого выросли из чисто личных переживаний и воспоминаний.

Вместе с разложением класса уходило из сознания художника все „социальное“. Творческая мысль его обратилась к мотивам „общечеловеческим“, но эти „общечеловеческие“ мотивы, правда, освещенные с точки зрения известной морали — морали аскезы и нирваны — были [2] в самом деле мотивами и проблемами биологии. По мере того, как социально-классовая нагрузка испаря-

[1] Бирюков, т. III.

лась в психике писателя вместе с разложением класса, из под нее обнажался биологический субстрат с его тревожащими моментами — пола и смерти: „Война и мир“ и „Анна Каренина“ завершились „Крейцеровой сонатой“ и „Смертью Ивана Ильича“. Искусство Толстого умирало, потому что его класс, деформируясь, падая, разлагаясь, беднея внутренним содержанием, не мог больше питать оживляющими полнокровными соками творчество величайшего своего художника.

II

И Л. Н. Толстому показалось, что искусство и вообще умирает.

Поэзия процветала, была значительна и высока лишь до того времени, когда она питалась почвой помещичьей, земледельческой — вообще докапиталистической культуры — когда же установилась городская, буржуазная „лжецивилизация“, она неудержимо падала — на Западе и у нас.

„В американской литературе,—писал Толстой в 1898 г.[1] после „великой плеяды“ — Эмерсон, Торо, Уиттьер (все они связаны еще с докапиталистическим периодом Америки), — появляются романы и рассказы, которые невозможно читать по отсутствию в них всякого содержания“.

В Англии после Диккенса (любимца Толстого, писателя, правда, городского, но психоидеологически связанного с докапиталистической ремесленной Англией) воцаряется „безразличная фабрикация Киплингов и др.“

[1] Предисловие к русскому переводу романа Поленца „Крестьянин“.

Так точно у нас „после Пушкина, Лермонтова, Тютчева“ поэтическая слава переходит к ряду „сомнительных“ поэтов (Майкову, Полонскому, Фету, правда, еще связанным с помещичьим миром), далее к Некрасову, „совершенно лишенному поэтического дара“ [1], и наконец, наступает эпоха символизма, когда „все уже мешается и являются стихотворцы, которые даже не знают, что такое поэзия“.

Так и в своих беседах с домашними Толстой неоднократно выражал ту же мысль об упадке и смерти искусства (в буржуазно-городской период).

„Я давно не помню, чтобы я испытал сильное художественное впечатление от литературного произведения. Я думаю, что не от того, что я стар. Мне кажется, что современная литература, как прежде римская, приходит к концу. Никого нет ни на Западе, ни у нас“ [2].

Если в своей книге об искусстве Толстой объявляет все искусство Запада, начиная от эпохи Ренессанса и до символистов — за известными исключениями — простой „подделкой“ под искусство, то в своих, в кругу домашних выраженных суждениях о современной ему русской литературе конца XIX века отчетливо выступает то же самое нежелание ее понять. Похваливая Чехова, иногда Куприна, иногда и Серафимовича, Толстой не уставал повторять:

„современные русские писатели утратили чувство того, что следует писать и чего не нужно“,

„им сказать нечего“, „современная русская литература вообще, а М. Горький в частности, уклонились от тех высоких нравственных задач, которые она прежде преследовала“.

[1] Чей стих „груб и пошл“ (Гусев, Два года с Т.)

[2] Гольденвейзер, Вблизи Толстого.

„все новое искусство, как и стихи Бальмонта, какая-то пересоленная карикатура на глупость“ [1].

В этом мерещившемся ему всеобщем упадке искусства (буржуазного периода) Толстой иногда открывал „замечательного“ писателя, но как и в его почти огульном отрицании искусства городского, буржуазного, так и в этих положительных оценках отчетливо сказывалось классовое чувство последнего великого писателя помещичьей литературы.

Когда умер немецкий писатель Поленц, Толстой писал (в частном письме) [2]:

„Это был большой писатель, соединявший в себе в равной степени все три свойства, нужные для писателя: всегда важное содержание, прекрасную технику и большую искренность, т. е. любовь к тому, что он описывает. Очень жаль, что публика не оценила по достойнству этого замечательного писателя. Но если он не оценен современниками, то его оценят будущие поколения“ [3].

Для параллели, весьма поучительной, напомним, что величайшего немецкого поэта (правда, буржуазии, но восходившей) Гете Толстой называл „ничтожным человеком“, а его „Фауста“ квалифицировал, как „совсем плохое произведение“.

Но кто такой Поленц? Потомок старинной дворянской фамилии, закинутый в большой город, где он задыхался, он возвращается в свое саксонское поместье, где только и мог свободно творить, как Толстой в Ясной Поляне (тогда как в Москве творческая способность Толстого

---

[1] Гольденвейзер, Вблизи Толстого.

[2] Бирюков, т. IV.

[3] Отзывы немецких историков литературы куда сдержаннее, напр. у Куммера: „настоящий, но не крупный художник“.

„иссякала", см. его письмо к художнику Ге [1], Большое влияние на Поленца оказал М. фон Эгиди, аристократ — офицер, снявший мундир и выступивший как проповедник христианского „социализма". Три романа написал Поленц, как правильно определяет Толстой: „крестьянский" („Крестьянин", к переводу которого Л. Н. написал предисловие), где крестьянин погибает в тисках городского капитала, „помещичий" („Grabenhäger"), где помещик после рассеянной светской жизни возвращается в свое поместье выполнять долг свой воспитателя окрестных крестьян, и третий — „религиозный" („Pfarrer von Breitendorf"), где священник из чувства христианской веры отрекается от церкви:

„Роман этот — писал Толстой — прекрасен и по форме и по содержанию".

Все это совершенно в духе Толстого. Поленц — „замечательный" писатель потому, что классово родственен яснополянскому помещику. Но если помещик Поленца „верил крепко как в евангелие", что „перед дворянством еще великое будущее", ибо оно „так прочно вросло в почву, которую веками возделывало, что его нельзя просто выкинуть из жизни" [2], то этой иллюзорной надежды не было у творца Константина Левина, этого — как метко его окрестил один из его биографов — „Будды русского дворянства".

III

Искусство помещичьего дворянства всюду умирало. Пришедшее ему на смену искусство городской буржуазии было лишь „подделкой".

[1] Бирюков., т. III.

[2] Цитата из романа Поленца по Куммеру (Немецкая литература XIX и XX в.).

Спасенье искусства было в искусстве народном.

Толстой мыслил это народное искусство сначала как изображение с точки зрения идеалов крестьянства его быта и его жизни. В семидесятых годах он задумывает роман (о декабристах), где крестьянской семье, переселившейся в Сибирь, он предполагал отвести центральное место. „Крестьянский роман" так и не был написан, ибо „быт" этого класса оказался Толстому, „труден" (из дневника Софьи Андреевны).

Читая в девяностых годах роман Поленца — „Крестьянин", Толстой записывает в своем дневнике:

„Прекрасная глава в романе Поленца, которая очень подзадоривает меня, но напрасно писать" [1].

Но и на этот раз крестьянский роман не был создан— вместо него родилась крестьянская драма „Власть тьмы". Когда пьеса была закончена, Толстой решил познакомить с ней деревенскую аудиторию. Читал Стахович, так передающий эту сцену в своих „Воспоминаниях".

„Крестьяне слушали молча, один буфетчик шумно выражал свой восторг (!) — громким хохотом (!). Кончилось чтение. Л. Н. обратился к пожилому крестьянину, бывшему его любимым учеником яснополянской школы с вопросом, как ему понравилось прочитанное сочинение.

Тот ответил:

— Как тебе сказать, Лев Николаевич, Микит по началу ловко повел дело... а потом сплоховал".

---

[1] Бирюков, т. IV. По словам Гольденвейзера, Толстой даже воскликнул: „Отчего я, дурак, не написал этого романа. Я этот мир знаю".

Даже до сердца „любимого ученика“ Толстого его народная драма — с ее „толстовской“ интерпретацией крестьянской жизни — не дошла.

И Толстой уже больше не „спрашивал никого“ [1].

Но, может быть, народное искусство это не искусство о народе, а искусство, непосредственно творимое народом — трудящимися?

В своей книге об Искусстве, где Толстой всю вековую эволюцию литературы оценивает с одной стороны с точки зрения христианской религии, а по существу, с точки зрения примитивного крестьянина, примитивного общественного уклада, он, как известно, провозгласил — как последнюю свою мудрость, — „настоящим искусством“ не „Гамлета в исполнении Росси“, не „101-ю сонату Бетховена“ — все это лишь „неудачные п о п ы т к и искусства“, — а охотничью пантомиму вогулов, о которой прочел, и песню деревенских баб под аккомпанемент оттачиваемых кос, пришедших „величать“ его вышедшую замуж дочь.

Почему именно э т о „настоящее искусство“?

Потому, что и пантомима вогулов и песня баб лучше „заражают“ воспринимающего соответственными чувствами, чем создания „высокого“ искусства.

Но, во первых, это как кого, а во — вторых, с э т о й точки зрения, чем не настоящее искусство — песни Некрасова или роман Чернышевского „Что делать“, „заражавшие“, и притом превосходно, не только известными чувствами, но и готовностью эти чувства претворить в соответствующие поступки — многие поколения воспринимавших эти произведения читателей и слушателей?

Прав Толстой, утверждая, что искусство буржуазной эпохи не сможет стать „искусством народа“, но столь же

[1] Б и р ю к о в т. III.

явно, что „народное“ искусство социалистической эпохи, вырастая из высокоразвитой базы экономики и общественности, ничего общего не может иметь с толстовским, „настоящим“ искусством, порожденным примитивным хозяйственным и столь же примитивным социальным укладом.

IV

Оставленный Л. Н. Толстым нам в наследство мир художественных видений, где основной темой являются в конечном отчете психологические процессы, на что уже в конце пятидесятых годов метко указал в одной из своих рецензий в „Современнике“ Н. Г. Чернышевский, картины нравственных исканий и душевных переворотов, лишен в силу этого, естественно, живописности. Мало в нем красок, и не даром Толстой был равнодушен к красочной стороне живописи (как сообщает Гольденвейзер).

Но один цвет то и дело появляется — любимый цвет Толстого — лиловый (из всех цветов он предпочитал — гелиотроп). Один знаток толстовских текстов множеством примеров из разных эпох творчества Л. Н. Толстого убедительно показал, что именно этот цвет навязчиво господствует у Толстого, появляясь даже там, где ему, казалось бы, не место — лиловы у него облака и тучи на небе, и цветы на земле, и, обычно женское, платье и (прибавим) ленты на дамских шляпах [1].

Писатель, сделавший эти наблюдения, не берется объяснить причину столь навязчиво повторяющегося лилового цвета, в который окрашен (поскольку он красочно воссоздан) мир толстовских видений и, разумеется, здесь возможны лишь догадки, более или менее произвольные.

[1] Апостолов в сборнике „Толстой“ и о Толстом“, III.

На картинах старых западных художников лиловый цвет — любимый цвет костюмов аристократических схимников, отрекшихся от мира не без сожаления о нем, с потаенной, лишь заглушенной тоской по его греховным радостям.

В этом лиловом мире толстовских видений вдруг вспыхивает — резко и ярко — иной цвет — красная панева крестьянки Степаниды. Кто она, мы не знаем. Художник не раскрыл ее души. Она дана лишь как красное пятно, тревожащее взор и душу помещика Иртенева. Вся она — от нашей земли. В ней весь наш чувствами воспринимаемый мир.

Она великий „соблазн" и „грех".

И Толстой, отожествляющий себя с своим героем, который тщетно силится поднять свое хозяйство на высоту „дедовских" времен, спешит — как „Будда русского дворянства" — скорее потушить хотя бы даже насилием — этот столь враждебный и чуждый в лиловом царстве отреченья греховный цвет — символ земной плоти и земной жизни, из которых одних только и бьет живой родник художественного творчества [1].

---

[1] В первоначальном варианте „Дьявола" Иртенев убивает Степаниду, в окончательной редакции он кончает с собой.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

25 июля (12) 1828 г. родился Н. Г. Чернышевский, месяц с небольшим спустя — 10 сентября (28 августа) — Л. Н. Толстой.

Столетний их юбилей почти совпал.

Так встали в нашем мышлении близко один около другого два больших человека — два антипода, два ярких выразителя двух разных общественных групп, двух классов — один (Чернышевский) восходящего, другой (Толстой) — нисходящего.

При всей их идеологической противоположности, обусловленной их противоположной классовой природой, оба они при жизни некоторое время были тесно связаны так, что их имена, на известном отрезке времени, то и дело переплетались.

Воскресить вкратце ко дню их юбилея их взаимоотношения при жизни, отголоски которых слышатся у Л. Н. Толстого еще и тогда, когда Н. Г. Чернышевского не было уже в живых, такова наша задача.

I

В своих воспоминаниях о Добролюбове, Некрасове и Тургеневе, которые — доселе неизвестные — напеча-

таны в одном из последних номеров одного из наших научных журналов [1], Чернышевский рассказывает очень живо и наглядно, как, приехав в Петербург в поисках работы, он некоторое время колебался между сотрудничеством в „Отечественных записках" Краевского и в „Современнике" Некрасова — Панаева, как он в конце концов остановился на „Современнике" и как в скором времени он занял в этом журнале руководящее положение. В „Современнике" принимали участие виднейшие тогдашние беллетристы, особо близкое Тургенев, а осенью 1856 г. — как сообщал Чернышевский Некрасову — редакции удалось получить исключительное право на печатание произведений Григоровича, Островского и — Л. Толстого. Последний, закончив третью часть своей „семейной хроники", предназначал ее для „Современника". В сентябре 1856 г. Чернышевский оповещает Некрасова:

„Толстой сам везет свою „Юность" [2]. Так как Л. Н. Толстой считался отныне постоянным сотрудником журнала, необходимо было упрочить его писательскую репутацию, необходимо было пропагандировать его талант. Эту задачу и взял на себя Чернышевский. Излагая в письме к Некрасову содержание декабрьской книжки „Современника" за 1856 г., Чернышевский доводит до его сведения, что он написал статью о „Детстве и отрочестве" и о военных рассказах Л. Н. Толстого, оговариваясь, что она до известной степени — комплимент.

„Она написана так, что, конечно, понравится ему (Толстому), не слишком нарушая в то же время истину".

[1] Литература и марксизм, № 4

[2] Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и Зеленым, под ред. Пиксанова.

Статья Чернышевского о молодом, еще только начинавшем свой писательский путь Толстом в высокой степени любопытна как потому, что в ней необыкновенно метко уловлены основные черты таланта Толстого, так и поставлен был вполне правильный, вполне оправдавшийся прогноз его писательского будущего.

Две черты считает Чернышевский отличительными, показательными в художественном облике Толстого.

Это прежде всего его „психологизм".

„Внимание Толстого, — писал он, — более всего обращено на то, как одно чувство и одни мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная ощущением, ведет к другим мыслям и т. д.".

Между тем, как одних писателей занимают более всего „очертания характера", других „влияние общественных отношений и столкновений на характер", третьих — „связь чувств с действиями" —

„гр. Толстого (занимает) всего более сам психологический процесс, его форма, его законы, *диалектика души*, чтобы выразиться определительным термином".

Основываясь на проявленной Толстым уже в ранних своих произведениях способности воспринимать и воссоздавать „едва уловимые явления внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайной быстротой и неистощимым разнообразием", Чернышевский предсказывал, что

„глубина изучения человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, чтобы он не написал и в каком бы духе не написал".

Вторая характерная в писательском облике молодого Толстого черта, по мнению Чернышевского, — это „чистота нравственного чувства". Правда, оговаривался рецензент „Современника", вся современная литература „без исключения" полна сейчас „благородным проявлением чистейшего нравственного чувства", но у Толстого в отличие от других писателей оно „никогда не колебалось, сохраняясь во всей юношеской непосредственности".

Когда в редакции „Современника" была получена третья часть „семейной хроники" Толстого, Чернышевский был ею слегка разочарован.

„По совести, — писал он Некрасову — „Юность" должна быть несколько хуже „Детства и отрочества". Но все-таки вещь недурная" [1].

И, возвращаясь в декабрьской книжке „Современника" за следующий (1857) год снова к Толстому, Чернышевский спешит отметить положительную черту „Юности" — а именно выход Толстого как писателя за пределы дворянского быта.

„В последних главах „Юности" читатели, конечно, заметили, как с расширением сферы рассказа расширяется и взляд автора. С новыми лицами (студентами - разночинцами) вносятся и новые симпатии в его поэзию („демократические", которые сам Толстой впоследствии осудил, как неискреннюю уступку „духу времени". — *В. Ф.*)".

Останавливаясь в той же рецензии на „Утре помещика", Чернышевский и здесь подчеркивает расширение сферы художественного наблюдения на этот раз в сторону крестьянства.

„Толстой с замечательным искусством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но что го-

[1] Переписка.

раздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина — его мужик чрезвычайно верен своей натуре — в речах мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются с такой же правдивостью и рельефностью, как характер наших солдат" [1].

Резюмируя свои наблюдения над ранними произведениями Л. Н. Толстого, Чернышевский ставил правильно и метко гороскоп будущей писательской работы художника, подчеркивая, что как „глубокое знание тайных движений психической жизни", так и „непосредственная чистота нравственного чувства"

„останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии".

И в этом направлении в самом деле развивался писательский талант Толстого. Все его как большие романы „Война и мир" или „Анна Каренина", так и его повести и рассказы позднейшего времени „Смерть Ивана Ильича" или „Дьявол" и т. д. построены на психологическом стержне, хотя быть может не совсем неправ Тургенев, писавший в одном из своих писем (по поводу „Войны и мира").

„На счет так называемой „психологии" Толстого можно многое сказать: настоящего развития нет ни в одном характере, а есть старая замашка передать колебанья, вибрации одного и того же чувства, положения. Другой психологии Толстой словно не знает или с намерением игнорирует".

И как подмеченный Чернышевским „психологизм", так и подчеркнутая им другая черта писательского облика

[1] Об изображении разночинцев и крестьян Толстым см. статьи „Два зеркальца" и „Худ. образы Т."

Толстого — его „морализм“ осталась в самом деле одной из самых существенных его черт на пространстве всей его творческой деятельности, все разрастаясь и повышаясь, через нравственные искания кн. Болконского и Пьера Безухова в „Войне и мире“, и Константина Левина в „Анне Карениной“ до кн. Нехлюдова в „Воскресении“, вплоть до того момента, когда моральная установка Толстого перекинулась в аскетическую, и он превратил искусство воссоздавать жизнь и людей в средство навязать жизни и людям свою аскетическую мораль и вплоть до того, что он и вообще отрекся от искусства во имя морально-религиозной проповеди, дававшей в виду ее явно компромиссного характера (собственность надо не уничтожать, а не увеличивать; целомудрие — недостижимый идеал, следовательно, надо не слишком предаваться чувственным радостям и т. д.) возможность его именем прикрываться всяким социальным и моральным тартюфам.

Эту опасность, грозившую „нравственной чистоте“ Л. Н. Толстого пророчески предвидел в своей рецензии в „Современнике“ Чернышевский:

„Мы не проповедники пуританизма. Напротив, мы о п а с а е м с я его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым. Самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собой десятки лицемеров, прикрывающихся его именем“.

II

Если официально в своих статьях в „Современнике“ Чернышевский, как видно из приведенных цитат, красноречиво и в общем правильно освещал и защищал писательскую индивидуальность Л. Н. Толстого, то за кулисами официальности идеологическое несоответствие автора

„Детства, отрочества и юности“ линии „Современника“ было общепризнанным фактом.

„Толстой, — писал Чернышевский в январе 1857 г. Тургеневу, — будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры копаться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкой по взгляду на жизнь“.

Чернышевский, впрочем, не отказывался от надежды, что мало-по-малу Л. Н. Толстой в атмосфере „Современника“ сумеет выпрямиться в желательном для журнала и для русской литературы, как ее интересы понимал Чернышевский, направлении.

„Толстой — писал он Зеленому, — который до сих пор по своим понятиям был очень диким человеком, начинает образовываться и вразумляться (чему отчасти причиной неуспех его последних повестей) и быть может сделается полезным деятелем“.

Чернышевский возлагал особые надежды на предпринятое в 1857 г. Толстым заграничное путешествие, полагая, что именно соприкосновение с западно-европейской культурой позволит ему „образоваться“ и „вразумиться“.

„Не собьет ли с него путешествие ту умственную шелуху, вред которой он, кажется, начал понимать“, — писал он Некрасову.

Если бы Чернышевский смог заглянуть в дневник, который вел Толстой заграницей — ныне опубликованный [1], а также в письма, которые Толстой из-за границы посылал Тургеневу, он увидел бы, что Л. Н. Толстой на Западе, в Париже (правда, то был Париж второй империи) ничего интересного не увидал, ничему

[1] Толстой, Л. Неизданные произведения, изд. федерацией писателей.

полезному не научился, и ничего не испытал кроме отвращения и тоски, и был несказанно рад, когда покинул этот „Содом".

„Вчера вечером, — писал Толстой Тургеневу, — когда я после поганой железной дороги пересел в дилижанс на открытом месте и увидел дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло. Отлично я сделал, что уехал из этого Содома".

Вернувшись из-за границы Л. Н. Толстой в начале шестидесятых годов, под гипнозом всеобщего увлечения идеей поднятия народного образования, решил бросить художественное творчество, и посвятить свои силы, вдохновение и уменье делу народной школы. Так возникла его яснополянская школа, — и — вместе с ней — его педагогический журнал „Ясная Поляна". Это было первое не художественное, а общественное выступление Л. Н. Толстого. И здесь сразу должна была обнаружиться пропасть между ним — яснополянским барином — и этими „новыми людьми" из „Современника".

Толстой, хотя и сотрудничал в журнале, но совершенно и с самого начала не смог наладить хороших отношений с руководителями „Современника".

„Не мог сойтись с Тургеневым и Некрасовым", — так начинает он свой дневник во время заграничного путешествия.

Не ладились и отношения с Чернышевским. В дневнике Толстого за 1856—57 гг. встречаются, правда, такие записи, как „Чернышевский мил" или „Чернышевский умен и горяч", однако с другой стороны он отозвался о руководителе журнала до крайности грубо и высокомерно. Все же ему казалось, что то новое дело, кото-

рому он решил посвятить себя в своей Ясной Поляне, должно заинтересовать и новых людей — разночинцев — из „Современника". Когда вышел первый номер педагогического журнала и первый выпуск народных чтений Толстой переслал их Чернышевскому с письмом, в котором писал:

„Я очень прошу внимательно прочесть его (номер журнала) и сказать о нем искренне и серьезно ваше мнение в „Современнике". Я имел несчастье писать повести и публика, читая, будет говорить: — Да, детство очень мило, но журнал...?

А журнал, — подчеркивал Толстой, — и все дело (т.е. народной школы) составляет для меня все" [1].

Прочтя первый номер журнала Толстого, Чернышевский был озадачен. Не мог он притти в восторг от педагогических воззрений яснополянских ревнителей народного образования, воззрений обильно рассеянных по страницам журнала в виде тезисов, один из которых гласил:

„Образование, имеющее своей основой религию, как божеское откровение, в истинности и законности которого никто не может сомневаться, неоспоримо должно быть прививаемо народу, насилие в этом случае законно".

И он дал в „Современнике" убийственный отчет о взглядах и деятельности яснопольских людей, взявшихся за ответственное дело народного образования, считая „всех остальных, напр. Руссо и Песталоцци — глупцами", „не имея ни определенных общих убеждений, ни научного образования", не сумевших разобраться в разноголосице педагогических учений и методов, так как у них не было для этого необходимых „условий", т. е. „привычки к логическому мышлению", способности

[1] Письма Л. Толстого, 1848—1910, ред. Сергеенко.

к „тяжелому изучению", наконец „определенных убеждений" — им поэтому только остается руководствоваться „своими случайными впечатлениями" и „своими прекрасными чувствами". Лучше журнала — маленькие книги для народного чтения, но и здесь хороша лишь та сторона, для „выполнения которой не нужно иметь убеждений в мыслях", а достаточно иметь опыт и талант — „хорошо в них изложение". Но в содержании этих рассказов — и тут же рецензент приводил убедительные примеры — отразился явственно „недостаток сознания о том, что нужно народу, что полезно и что вредно для него" [1].

Не только изложенные в „Ясной Поляне" взгляды не могли не возмущать Чернышевского, но и в высокой степени пренебрежительное отношение Толстого как редактора журнала к студенческой молодежи (радикальной), преподающей народу якобы хуже „пономарей", и в особенности к деятелям воскресных школ, радикалам и революционерам, ведшим народное образование в ином направлении, нежели яснополянский помещик. И Чернышевский горячо восстал на их защиту:

„Каковы бы ни не были эти люди, умные или глупцы, они честные люди, любящие народ, делающие для него все, что могут. Если вы на них поднимете руку, от вас должны отвернуться все порядочные люди".

III

В 1862 г. Чернышевский был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость и здесь, чтобы скоротать время в одиночной камере, написал свое евангелие „новых людей" — разночинной интеллигенции, бурным потоком наводнившей арену русской жизни. Роман „Что

[1] „Современник", 1862, № 3.

делать?“ был задуман до известной степени как ответ на вышедший годом раньше (1862) роман Тургенева „Отцы и дети“, где в образе Базарова был дан дворянский преломленный и дворянски искривленный образ нигилиста.

В настоящее время совершенно очевидно, что роман Чернышевского „Что делать?“ „проскользнул“ в печать по недоразумению [1]. Цензор (Пржецлавский), которому была поручена политическая рецензия, дал отзыв отрицательный. Соглашаясь с тем, что хорошей стороной романа является то, что эти „материалисты“ и „нигилисты“ в романе уже не щеголяют цинизмом, а выступают, как „новые люди“, этот цензор все же находил, что их учение о любви к людям, вырастающей органически из разумно понятого эгоизма, есть „профанция христианской морали“, а их учение о браке, как о „временном договоре“, который „по произволу договаривающихся может быть уничтожен, расторгнут и всячески изменен“ является „чистым развратом“, „коммунизмом женщин и мужчин“ — словом все учение „новых людей“ — противно „коренным началам религии, нравственности и общественного порядка“ и потому

„сочинение, проповедующее такие принципы и воззрения в высшей степени вредно и опасно“.

И несмотря на такой убийственный приговор главного цензора, роман „Что делать?“, все-таки был напечатан в „Современнике“ (1863), по случайности, а именно потому, что кн. Голицын, ведший следствие „преступника“ Чернышевского, не нашел в отзыве ничего „политически“ вредного, а цензор „Современника“ в виду этого не счел возможным или удобным наложить свое veto.

[1] „Каторга и ссылка“, № 44.

„Таким образом, — вспоминает цензор Пржецлавский, — проскользнуло в русскую литературу это произведение [1].

Роман Чернышевского, имевший такой грандиозный резонанс в широчайших слоях разночинной интеллигенции, был известен и Толстому, и как педагогический его журнал должен был быть „неприятен" Чернышевскому, так „Что делать?" не могло быть „приятно" Толстому.

Работая в начале шестидесятых годов над своей эпопеей „Война и мир", Толстой вздумал испробовать свои силы и в новом жанре — драматическом (по словам Островского ему несвойственном) и в частности хотел написать комедию из помещичьей жизни. Постепенно она выяснялась перед ним как сатира на тех „новых людей", которые прочно засели в „Современнике" и которые только что оформили свои взгляды на мораль, на семью, на организацию труда в романе Чернышевского. Работал он над своей комедией усердно и с увлечением, о чем свидетельствуют многочисленные наброски и варианты отдельных сцен. Не сразу удалось подыскать заглавие — сначала „Старое и новое", потом — уж прямо в ответ Чернышевскому „Новые люди" и наконец, заглавие было найдено „Зараженное семейство". Когда пьеса была готова, Толстой отвез ее в Москву, надеясь поставить на сцене Малого театра. Он читал ее Островскому, у которого — как тот выразился в письме к Некрасову, — „уши положительно завяли", — „такое это безобразие".

Отвлеченный потом работой над „Войной и миром", Толстой забыл о своей комедии, так и не увидевшей свет рампы, и она только в наши дни недавно опубликована [2].

[1] См. статью Бухбиндера в указ. номере „Каторги и ссылки".
[2] Толстой, Л. Неизданные произведения.

Действие комедии происходит в имении помещика, готового сочувствовать новому времени (после освобождения крестьян) и новым людям, шумно выступавшим с своим новым учением о жизни. Он пригласил студента-естественника в воспитатели сына, и готов выдать дочь за акцизного чиновника. Оба они — студент и чиновник — должны представлять собой этих пресловутых новых людей, о которых кричит литература и которые кричат в литературе, хотя вся их „новизна" в том, только и заключается, что чиновник хочет жениться на деньгах, а студент мечтает ехать в „коммуну", где „супружество не существует", а „совершенно свободные отношения", и оба старательно восстановляют детей против родителей. Сатира вышла до крайности слабой и совершенно неспособной развенчать ореол и устранить очарование таких образов, как Лопухов, Кирсанов, Рахметов. Зато пышно распускался в комедии помещичий дух, дух „Зуботычиных", как выражаются толстовские карикатуры на „новых людей". После бегства сына и дочери помещик отрезвляется от своего увлечения всем „новым".

„Правда твоя, — говорит он жене, — все хуже стало. И уставная грамота хуже, и школа, и студенты — все это яд".

И, возвращаясь к старому, Иван Михайлович открыто демонстрирует свои крепостнические замашки как по отношению к крестьянам:

„ни одного клочка не отдам даром, ни одной копейки, ни одного дня, ни одного штрафа не прощу. Нет-с, уж я ныне выучен". —

так и по отношению к детям:

„уж отведу душу! Петрушу розгами высеку".

Пусть Иван Михайлович не Лев Николаевич. Однако, в пьесе фигурирует еще и другой помещик — Николаев

(имя его не обозначено, вероятно Лев), имеющий жену Софью Андреевну, а Николаев никогда не сочувствовал новым веяниям и новым людям шестидесятых годов.

IV

Автор „Что делать?“ вскоре был императорским правительством изъят из обихода русской жизни. Имя его исчезло со страниц нашей публицистики и литературы. На каторге и в ссылке он писал, но то, что он писал, не печаталось. Из Сибири он вернулся — мертвым человеком.

Л. Н. Толстой, напротив, шел по дороге расцвета и славы художественного гения.

В своих произведениях он продолжал изображать сознательно или бессознательно упадок и деклассацию родовитого помещика, застигнутого развитием капитализма и буржуазии, и или вынужденного приспособиться к новой (буржуазной) действительности или же — в противном случае опуститься на дно или же, порвав с миром, пойти по пути аскезы и нирваны.

Если в „Утре помещика“ этот образ дворянина, сидящего на земле, дан до освобождения крестьян, когда ему еще могла рисоваться перспектива возможности полезной деятельности в качестве устроителя, опекуна и воспитателя своих крепостных крестьян, если в „Войне и мире“, романе, написанном после крестьянской реформы, тот же тип изображен в исторически-условном костюме в ту пору, когда из-под его ног начинала уходить социальная почва (хотя в эпоху отечественной войны крестьяне еще были крепостными,) что отражалось в его психике беспокойством, исканием правды и смысла жизни, мыслями о смерти и нирване (кн. Андрей) и мы-

слями об опрощении (Безухов), если в „Анне Карениной“ (семидесятые годы) этот процесс социальной деградации в образе Константина Левина доведен до психологического и идеологического предела, в смысле отказа от всего мирского во имя жизни для „души“ и для „бога“, то в написанном на грани XX в. одном из последних художественных произведений Толстого в „Живом трупе“, этот образ показан еще раз в состоянии полной социальной и моральной деклассации, в момент его гибели.

Федор Протасов прожил свое поместье, бросил жену, ушел к цыганам. Причину своей гибели он объясняет тем, что в „том кругу, где он родился“, перед человеком только „три выбора“. Или (буржуазный выход) „служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь“. Это было ему „противно“. Или — „разрушить эту пакость“ (выход в революцию и социализм). Но для этого надо быть „героем“, а он не был им. (Надо прибавить, что для толстовского персонажа такой выход вообще не возможен). Или, наконец, третье „забыться, пить, гулять, петь“. Это самое он и делал... И „допелся“.

И когда Толстой писал свою драму о „живом трупе“ (варьируя аналогичный образ Николая, брата, Левина, в „Анне Карениной“) он вдруг вспомнил — Чернышевского.

Федя Протасов хочет дать жене возможность вторично выйти замуж за „приличного“ человека. Он хочет убить себя. Но и на это нет сил у него. Есть однако и еще один выход: симулировать самоубийство. И этот выход подсказывает цыганка Маша, которую Федя любит, как и она его „чистой“ любовью.

„Читал ты: „Что делать?“ — спрашивает она его.

Федя. Кажется, читал.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он это как его Рахманов взял да и сделал вид, что он утопился".

Не Рахманов, какого в романе Чернышевского вовсе нет, не Рахметов, которого Маша имеет в виду, совершает этот хороший поступок, а Лопухов, узнав, что Вера Павловна, охладев к нему, полюбила Кирсанова.

Но не в этом „хорошем" поступке Лопухова, один, который только и запомнился Толстому, суть романа Чернышевского, а в той новой морали разумного эгоизма, в том новом взгляде на брак, как на временный договор, наконец, в той новой организации труда, которая воодушевляет собой роман, т. е. в том мировоззрении, которое было прямо противоположно идеалам Толстого, противополагавшего „языческой" морали эгоизма-альтруизма — служенье воли „Пославшего", защищавшего во всех своих произведениях от „Анны Карениной" до „Крейцеровой сонаты" и „Живого трупа" нерасторжимость брака и протестовавшего против „коммунизма" фурьеристов, давая их столь же бессодержательный и безжизненный образ в лице Крицкого, друга спившегося Николая, как бессодержательно и безжизненно было карикатурное отображение разночинца — нигилиста в комедии „Зараженное семейство".

V

Выше было указано, как неприязненно относился Чернышевский к Толстому - мыслителю, и как Толстой в свою очередь не выносил Чернышевского („клоповоняющего"). Впоследствии, правда, Л. Н. Толстой иногда отзывался о Чернышевском значительно мягче и, как сообщает Гольденвейзер в своих воспоминаниях,

даже похвалил печатавшиеся в „Русском богатстве“ записки Чернышевского, предназначавшиеся для его сына [1]. Однако, на всю жизнь у него о нем сохранилось впечатление „неприятное“.

Когда однажды за завтраком его секретарь спросил его, знал ли он писателей некрасовского „Современника“ Добролюбова и Чернышевского, Толстой ответил:

„Чернышевского знал. Он мне всегда был о ч е н ь (разр. Гусева) неприятен и писанья его неприятны [2].

Не могло быть, естественно, никакой „приязни“ между этими двумя выразителями двух противоположных и враждебных общественных групп, между идеологом мелкобуржуазной революционной интеллигенции и мыслителем упадочного помещичьего дворянства.

Социальная противоположность приводила неизбежно к противоположности идеологической.

Чернышевский — материалист, давший в своем „Антропологическом принципе в философии“ законченную материалистическую систему, пусть не совпадающую с диалектическим материализмом. Толстой — убежденный идеалист, боровшийся с материализмом, начиная с Константина Левина и до своих религиозно-нравственных трактатов. Чернышевский как ученик Фейербаха учил, что человек создал бога, Толстой, выученик религиозных мыслителей Востока, напротив верил, что бог (отец и хозяин) создал человека. Чернышевский полагал, что прогресс зависит главным образом от развития научных знаний, Толстой — на склоне жизни — вел ожесточенную кампанию против науки и ученых. Чернышевский был со-

[1] Г о л ь д е н в е й з е р, „Вблизи Толстого“, II, 71.

[2] Г у с е в, Два года с Толстым.

циалистом, пусть утопическим, Толстой считал социализм изобретением дьявола. Чернышевский был революционер, воодушевлявший своим учением все интеллигентское революционное движение шестидесятых и отчасти семидесятых годов. Толстой был непротивленец, доказывавший и в своем обращении к рабочему народу от 1905 г. и в своем письме к революционеру от 1909 г., что насилие есть зло. Хотя Чернышевский и не был марксистом, однако в его идеологической системе имеются несомненные зародыши марксизма. Толстой был непримиримым врагом марксизма, против которого он ополчается и в письме к революционеру, и в своем трактате об искусстве, хотя не имел о марксизме, как философии, никакого представления, так как никогда серьезно его не изучал [1].

Оба они придавали огромное значение крестьянскому вопросу, но Толстой написал открытое письмо управляющему II отделением собственной е. в. канцелярии, где доказывал, что земля должна вся принадлежать помещикам, а Чернышевский написал прокламацию „К барским крестьянам", где звал мужиков к топору.

Оба были плодовитыми писателями, выступавшими и как публицисты, и как беллетристы. Между тем, как религиозно-нравственные трактаты Л. Н. Толстого могут в настоящее время интересовать разве только биографов писателя и заядлых толстовцев,—экономические, политические, философские, исторические работы Чернышевского получают ныне особый смысл и значительную ценность как творения крупнейшего, по выражению Маркса, русского ученого, предтечи марксизма.

[1] В 1907 г. Толстой читал, впрочем, большевистский сборник „О бойкоте третьей думы", где имелась статья Ленина, см. Ленин и Толстой, изд. Коммун. академии.

Иначе обстоит дело с их беллетристикой. Произведения Л. Н. Толстого заняли прочное место в пантеоне русской и мировой художественной литературы. Многочисленные беллетристические произведения Чернышевского так и не вошли в историю русской литературы.

Но если искусство есть „познание жизни", как говорят одни, то „Что делать" Чернышевского позволяет познать жизнь той общественной группы, которая здесь выражена, так же хорошо, как „Война и мир" или „Анна Каренина" дают возможность познать жизнь того класса, из духа которого выросли эти романы. Если искусство есть „организация образов" — как говорят другие, то почему Рахметов или какой-нибудь „сон Веры Павловны" меньше „образ", нежели Вронский и Анна или нравственные исканья Левина. Что в одном случае преобладает идеология, рассуждения, а в другом — психология, картины, это лишь результат разного состояния классов, выражавшихся в этих произведениях. Если искусство есть — как утверждают третьи, „организация чувств через образы", то эта организующая роль романа Чернышевского столь же очевидна, как и соответствующая роль произведений Толстого. Но если искусство есть — как учит Толстой — средство „заражать" чувствами, если принять во внимание, что чувства ценны лишь, когда переходят в соответствующие поступки, то мы не знаем и учесть не можем, какими чувствами — поступками, „заражали" художественные произведения Толстого его многочисленных читателей и почитателей, тогда как известно, что роман Чернышевского воспитывал целые поколения русских интеллигентов и революционеров в активно-действенном направлении, о чем свидетельствует величайшее множество их собственных заявлений и что подтверждается всякой новой

публикацией документов из истории нашего революционного движения [1].

Иной читатель скажет — мы кощунственно хотим поставить рядом, пользуясь старой терминологией В. Майкова — „беллетриста“ Чернышевского и „художника“ Толстого.

Отнюдь нет.

Мы ставим лишь принципиальный вопрос: что такое художественность?

Рабочий класс едва ли заинтересован в „эстетических“ переживаниях как таковых. Искусство как только „познание жизни“ и даже искусство, как средство „самоутверждения“ едва ли может вполне его удовлетворить. Разрушать старое, поскольку оно заслуживает разрушения, строить новое, воспитывать в себе и в других нового социалистического человека — такова его задача. С этой точки зрения наиболее художественной является такая литература, все равно „беллетристическая“ или „художественная“, которая способна заразить максимально воспринимающего полезными для класса и для его мирового дела чувствами, переходящими в соответствующие действия.

Подобная постановка проблемы о художественности есть, конечно, некая „переоценка ценностей“.

Но разве развертывающаяся пролетарская культура не есть сплошная „переоценка ценностей“?

---

[1] См. напр. недавно опубликованные Центроархивом дело Караказова и ишутинцев а также „Литературные воспоминания Скабичевского“, изд. Зиф'а.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Москва, 19. Волхонка, 14 ═══ Телефоны: 5-71-38, 3-59-48

КЛАССИКИ МАРКСИЗМА
О ТОЛСТОМ

I

ЛЕНИН И ТОЛСТОЙ

ПРИГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ
С. М. БРЕЙТБУРГ
Редакция и вступительная статья
И. М. НУСИНОВА

Стр. 186 — В переплете 1 р. 35 к.

II

ПЛЕХАНОВ И ТОЛСТОЙ

ПРИГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ
С. М. БРЕЙТБУРГ
Редакция и вступительная статья
И. М. НУСИНОВА

Стр. 176 — В переплете 1 р. 35 к.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ
В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
ИЗДАТЕЛЬСТВА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА, 25. МОХОВАЯ, 26. ТЕЛ. 2-38-97.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Москва, 19. Волхонка, 14 ═══ Телефоны: 5-71-38, 3-59-48

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ

Д. Ю. КВИТКО

ФИЛОСОФИЯ ТОЛСТОГО

СОДЕРЖАНИЕ

Проблема религии
Проблема нравственности
Философия истории
Вопросы культуры
Вопросы искусства

Стр. 302 В переплете 2 руб.

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ
В КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
ИЗДАТЕЛЬСТВА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА, 25. МОХОВАЯ, 26. ТЕЛ. 2-38-97.

3-8
104

ОДИН РУБЛЬ
ПАПКА 25 КОП.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
ИЗД. КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА 25,
МОХОВАЯ 26.
ТЕЛ. 2-38-97.